**Платон Беседин. Донбасский проект.**

**1**

Ну да, я злой человек. Как у Достоевского. И фраза эта, короткая, резкая, как удар ятагана, идёт со мною из детства, точно густой запах книг с бесчисленных полок. Ими родители заставили нашу квартиру на пятом этаже «хрущёвки» цвета серы. Во дворе, напротив израненной детской площадки, утыканной металлическими остовами, рос гигантский тополь, похожий на перегоревшую лампочку. Я смотрел то на него, то на полки, то на скелеты турников и ракет – и, в общем-то, был доволен. Куцый, тусклый пейзаж, но тогда он воспринимался удобоваримо.

Возможно, потому что я всё время читал. Слишком много книг мы проштудировали в болезненном детстве. Я и мой двоюродный брат, он вечно гостил у нас. Его мать вкалывала в метро, но не смотрящей за эскалатором, а по-взрослому – на путях; отец же погиб пьяным под колёсами электрички. Вся семья – на рельсах. Так что Антон постоянно тёрся у нас. Сидел в продавленном кресле, застеленном бордовой велюровой тканью – и читал. Всё время читал. Даже больше меня. И растерянное выражение не сходило с его одутловатого лица под цвет хрущёвки. Брат мой стал в итоге писателем. Читать и писать – это уже из Сартра.

Наверное, мне было суждено идти той же обречённой дорогой из разбитого жёлтого кирпича. Ничего весёлого, кстати, в этом цвете нет. Никаких тебе подсолнухов на полях или Будды в солнечных одеждах. Это цвет болезни, тоски, смерти. Неслучайно, обои в каморке Раскольникова, похожей на шкаф, были жёлтые. Я всегда избегал этого цвета – плывите сами в своей субмарине, мистер Паркер.

Книжные страницы, кстати, тоже быстро желтеют. Со временем, рассеивающим умирание, словно американский бомбардировщик. Лингин из древесины окисляется, когда соприкасается с солнцем и воздухом. Потому страницам нужно предельное уединение – полная изоляция. Так и книжники вырезают себя из мира, утверждая, что мудрость его есть безумие перед Богом. Имя Последнего они ищут в книгах. И наш народ – едва ли не каждый в этой мёрзлой шири – столь долго отравляли литературой. Народ-богоносец, чьи страницы давно пожелтели и вот-вот превратятся в прах. Но все эти пушкины, блоки, достоевские, толстые и чеховы, по сути, необходимы лишь для того, чтобы не обманываться насчёт людей. А они в большинстве своём алчное, гордое, похотливое дерьмо. Вот и стоит понять, как жить с этой вонью.

К счастью, я вовремя сообразил, что по книгам и как в книгах жить нельзя. Хотя вирус – цепкая дрянь! - до сих пор сидит во мне. На клеточном уровне. Его не вылечить, не изжить. Вирус из идеалов о сострадании и любви – всей той русско-классическо-литературной дряни, которой нас, профукавших беззаботность, пичкали в школе.

Со взрослыми, впрочем – та же согбенная история. Мамам и папам оставалось только читать. Когда серьёзные пацаны с бычьими шеями и пухлые младореформаторы с лицами enfante terrible омывали невидимую руку рынка, остальные глотали ранее запрещённые романы, ища в них то ли ответы на проклятые вопросы, то ли убежище от творившегося безумия. Вот и мои родители, советские инженеры, стандартные, как платья Ивановской фабрики, собирали исключительно книги. И немного богемский хрусталь. Помню, одна баба с мёртвым лицом цвета варёной говядины весь вечер рассказывала моей матери, как ухитрилась – чудо, просто чудо, Светочка! – купить чешскую вазу Moser.

Инженеры на сотню рублей, наверное, хотели такую же. Ну, и ещё коммунизм во всём мире. Тем же ванильным шлаком они кормили и меня, порабощая книгами, но что-то пошло не так – и, вопреки установкам, я возжелал вырваться из «хрущёвки». Разорвать круг. Пусть уроборос сам целует себя в задницу. А я не желал больше видеть разросшийся тополь. И проржавевшую ракету, с которой дети летели не вверх, а вниз. И дядю Васю с его раздолбанным «Москвичом-2140». Это – свечи, это – стартер, это – поршни. Такие вот дела, Славик. Не знаю, где ты, дядя Вася, сейчас. Наверное, перебираешь мотор у чертей на шиномонтажке. И там тебе, старый мудак, самое место. Вместе с отцом вы пропадали в гараже сутками. В запахах гари, ветоши и машинного масла. С таким смаком раскладывали на газетах бутерброды с ливерной колбасой и плавленые сырки. Я ненавидел их, эти сырки – не за вкус, тот был неплох, особенно у «Медового», а за издевательский блеск фольги, потому что всё детство не мог избавиться от металлического привкуса во рту. Будто жевал эту грёбаную фольгу целыми днями. На завтрак, обед и ужин. Да и на полдник тоже. Под индийский чай высших сортов.

Впрочем, если бы не тот привкус, - он заставлял меня искать лазейки и выходы - я бы, наверное, никогда и не выбрался из серной хрущёвки, из советского замка Иф, правда, созданного не Дюма, а Кафкой. Да, я до сих пор бесконечно цитирую книги. Слабость, удавка задыхающегося от жёлтой пыли. Впрочем, в определённом смысле моя работа, да и отчасти жизнь – это всего лишь поиск удачных цитат. Их нужно расставлять вовремя, как ловушки. И не верить в русскую хтонь о «маленьком человеке». Или, ещё хуже, в построение царствия Божия на земле, на которое нужно потратить свою жизнь, выработав, израсходовав всего себя.

Потому что я чиновник. Сижу на Старой площади и плюю на вас, говнюков. А чиновнику важно делать свою работу - и только. Скользить меж капель, чей размер и влажность строго ограничены сверху. Отыскивать меньшее зло – вот главный принцип. Ты не выбираешь между правильным и неправильным – ты выбираешь между злом большим и огромные. На иное рассчитывать бесполезно – и глупо. Благие намерения здесь подобны мёртвым животным, сброшенным в места водопоя.

Сколько человек лучше отправить на тот свет? Вы когда-нибудь решали подобную задачку? Одно дело, когда обстреливают деревушку в Луганской области – ну, сколько там передохнет? Двадцать, тридцать человек, да? А другая история – хлюпает кровью, - когда бомбы расцветки непатриотичных полотенец на пляже грохнутся на Тверь и Калугу. И станут паковать не десять, а тысячи грузов-200. Что вы тогда скажете? О, эта зажравшаяся, коррумпированная, борзая власть, она совсем не думает о простых людях, только ворует, а дороги разбитые, и армии нет, и школы закрываются. Да? Как же вы предсказуемы! Хотя и сами не против слямзить миллион, другой, но беда в том, что никто вам его не даст - вот вы и злитесь. Так что лучше заткнитесь. С вашим-то скотским лицемерием.

Но вы всё равно блеете. Он такой порочный и гадкий, этот жирнозадый губернатор, а я лучше. Чем лучше? А ну расскажи! Тем, что ты слямзил меньше? Так у тебя и ключей от склада не было. Ты, как шавка, из-за угла подглядывал. И облизывался. Слюной, гнида, не захлебнулся? Вам только волю дай и контуры новой жизни. Тут же выпретесь, как стая шакалов. Жрали бы и жрали тогда, чавкая, разрывая мясо, утирая кровь, но - не насытились бы. Так что сидите на жопе ровно.

Хлеб вам завозят. Пышный такой хлеб – разрыхлителей не жалеют. А зрелищ по «ящику» - хоть отбавляй. Тут бойня – и там конфликт. Мы скармливаем вам самое вкусное – войну. Она мир, и она развлечение. Аппетит к разрушению – чёрт подери, классный альбом! Люди бредят войной. Люди грезят войной. И в конце концов война – это моя работа. Но не бегать с «Калашниковым», а выдавать информацию, закидывать, как лимонками, поводами, создавать смыслы. Так, чтобы вы, люди-морлоки, жили в состоянии непрекращающейся войны, следили за ней, переживали. Для вас мы закопаем одних на поле боя, а других сделаем живыми трупами вне его. Знаю, сучки, вам нравятся фронтмены войны - почти такие же крутые, как марвеловские супергерои, только куда реальнее. Главное – чтобы бойня шла на чужой территории. И лучше всего смотреть её по телевизору. Как футбольный матч. Болеем за наших! Делаем ставки! В конце – счёт один ноль, наши выиграли. Ура! Война кончилась. Выдыхайте. Пока мы не придумаем вам новую бойню.

Как я пришёл на фабрику войн? Мне повезло. Я не обладал так называемыми связями. Обычный, сообразительный, пусть и чересчур амбициозный парень. Кому нужен такой? Мир раздаёт бонусы и скидочные карты исключительно по праву родства, по праву крови. Ротшильд зачал Ротшильда – и тот унаследовал Ротшильдово. Или другой вариант: родила червяшка червяшку, та поползла, а потом умерла – вот и вся наша жизнь. Что то, что другое – суть одно. Конвейер работает бесперебойно и безошибочно. У моих родителей с генеалогическим древом, определённо, не ладилось. Потому про таких, как я говорят – хрен с горы. Ну и ладно, главное – чтобы не вялый хрен.

Но был и другой вариант – революция. Она всегда перетряхивает систему, и последние становятся первыми. Из грязи в князи – так вы говорите. И потому всегда хотите революции. Даже, если вам страшно. Выйти на уличные протесты, к примеру. Боязно получить дубинкой по голове. Или – пулю в висок. Мой любимый вариант, кстати – смиренно-очаровательный. А если нет, то гасите свет - врубайте партизанское радио! Можно и так. Но ведь всё равно хочется урвать кусок, да? И повкуснее. Путь и не с барского стола, а с холопского. Поздно, уже свершилось. Все места заняты.

А вот мне подфартило с первой работой: я пробрался в издательский холдинга. И в нём заправлял толковый начальник. Пусть у него и было тупая морда. Мы так и называли его – Морда (иногда – Морда из Мордора), когда ходили на перекур. Первой его этой кличкой наградила Ляля. Вообще она была Оля, но все называли её Лялей. С детским лицом, на котором были надуты утиные губы. Она чуть-чуть их приоткрывала, почти незаметно, когда стонала липкие пошлости. Ну, все эти милые гадкие непристойности, которые любят женщины во время секса. Других это, говорят, возбуждало – чуть-чуть приоткрытые губы; ловеры аж причмокивали, когда смаковали пахнущие влажными простынями подробности, - но меня, скорее, пугало. Потому что я имел Лялю при свете, в плюшевом гостиничном номере, и казалось, будто не девка выдавливала из себя пошлости, а за стеной потешалась озабоченная чревовещательница. Словно я трахал не человека, а куклу. Впрочем, с женщинами подобное ощущение возникает часто.

Да, Ляля озвучила кличку первой. Почему Морда? С его глазами-черносливами на выкате и морщиной-каньоном на высоком аристократическом лбу. Думаю, мы называли его так из-за индюшачьего подбородка. Похожие встречаются у многих стариков, но у Морды его словно лепили с карикатур – он свисал к низу, как сорвавшаяся с крючков штора.

Вообще его звали Архип Оспипович. Дико, конечно, что мы, журналисты, придумали столь глупое прозвище. Впрочем, от нас никто и не требовал оригинальности. Мы просто выполняли свою работу – писать то, что надо, доходчиво, чётко, ясно. И, само собой, духоподъёмно. Читатель должен был не просто внимать, но убеждать себя и другого, принося ему убойную весть и крепкую веру. И так – по цепочке, с максимальной зоной заражения. Вроде сетевого маркетинга или сатанинского вируса, передающегося через информационный контакт.

Возможно, в той команде я первым уловил главное – важно не следовать трендам, как очарованный красным знаменем комсомолец, а предугадывать их. Ты пишешь заметку, её читают – и хватаются за пистолет. А ну, етить твою мать, где этот Слава?! Вызовите мне его срочно! И тебя вызывают. Но ты не спешишь, хотя всем своим видом изображаешь волнение, озабоченность. Будто ты цуцик, который скоро останется без жратвы.

Но пока ты идёшь, крикливое существо вдруг решает перечитать заметку. Что-то в ней его зацепило, осело внутри – не избавиться. Он перечитывает и понимает: а не к этому ли всё идёт? Есть, знаете ли, признаки. Надо разобраться, проверить. И он выясняет, и он убеждается – хм, может, этот Слава ведает больше остальных? Может, он не просто очередной писака? Информирован? Имеет канал связи? Обладает инсайдами? Или у него есть чуйка? Да, да, всё не так просто с этим вертлявым пареньком в зелёных кедах.

Если ты ошибаешься редко (потому что ошибаются все; главное – не частить), то со временем тебя найдут сами. И ты уже не будешь догадываться, принюхиваясь к ветрам переменам, а получишь прямой доступ к информации. Архип Осипович этому меня научил. В итоге я стал называть его так – по имени, отчеству.

После газет и журналов меня позвали на телевидение. Предсказуемо. Так, без изюма, работала система отбора кадров. Особенно во времена, когда интернет ещё не доминировал. А вот телевизионные бега увлекали.

Перед собеседованием я представлял просторный светлый офис, коллекцию холодного оружия в деревянном резном шкафу, длинный переговорный стол, похожий на древний гриб. Визуализировал банальность. Но ничего подобного не случилось. Меня пригласили в восточное кафе на ВДНХ. Почему не в пределах Садового? Не знаю. Возможно, непритязательность – тоже фетиш. Или наоборот – нестандартное развлечение. Но, определённо, я выглядел смешно в своём жаккардовом галстуке и отутюженных брючках с полосками, напоминавшими крейсерские флагштоки.

Человек, сидевший напротив меня, предпочитал серый цвет и одежду из льна. Он был уже неприлично полон, выглядел безвозвратно уставшим, но в округлом лице его ещё сохранялась породистая красота. Меня поразила абсолютная расслабленность этого господина. Он смотрел будто мимо меня и периодически отламывал кусочки пахлавы, уютно лежавшей в сине-белой пиале. Присутствие на столе восточной сладости удивило меня тогда. Уже потом я узнал, что везде, где бывал породистый господин, к посуде липла медовая пахлава. Он без неё не обходился.

Говорил человек сладко, но без засахаренных излишеств. Чтобы вкус ощущался настолько, насколько позволял уровень глюкозы в крови собеседника. Не переедать, не впадать в кому. В книгах бы обязательно добавили нечто вроде: «Он говорил сладко, но глаза его отливали металлическим блеском», ха. Нет, не было ничего такого.

Отталкивало меня в нём лишь одно, на уровне физиологии: господин казался чересчур мешковатым. Набухшие тёмно-серые тени под глазами, старческие щёки бассет-хаунда, мятая одежда, скрывавшая тучную фигуру. И глаза у него точно упаковали, спрятали ото всех – не рассмотреть, не прочувствовать. Я в принципе не мог глядеть на него долго, чтобы не выдать свои волнение, слабость. Нервничал я безбожно, хотя подобное со мной случалось редко. Отводя взгляд, я малодушно успокаивал себя мыслью, что просто смотрю на пруд возле кафе – такой он живописный, с мозаичным узором жёлто-зелёных лилий, почти мультяшными уточками и пушистой осокой рядом с водой цвета потемневшего малахита. Поёрзал на канапе, вцепившись в твёрдые подлокотники. Постарался устроиться как можно уютнее на мягкой, ежевичного оттенка обивке.

– Мы думаем о вашей программе на телеканале, - мешковатый человек произнёс название. – Не в прайм-тайм, конечно, но в нормальное время. Программа для луковых голов. Как вы на это смотрите?

Я мог бы сказать, что смотрю на это нетерпеливо и жадно - ведь последнее время только и думал о себе на федеральном канале. Как наводил справки и даже укатывал в стрип-клубе биг-босса, чтобы тот прописал меня в «ящике». Но дебелый ушлый мужик нажрался вискаря, трахнул за мой счёт кисло пахнущих алчностью и потом девок, а после ограничился стандартными обещаниями. Да, мне было, что отвечать о своём видении телевизионного вопроса, но я лишь поблагодарил и дал короткий утвердительный ответ.

Мешковатый человек прикрыл глаза, и тут я заметил, какие у него длинные шелковистые ресницы. Такому бы рекламировать Lancome Hypnose. Его ресницам позавидовала бы любая девка, тратившая тонны времени и средств на укрепление или наращивание ресниц. Я ослабил придушивший меня галстук. Подумал о том, что хорошо бы вообще снять его. Человек отхлебнул из цветастой пиалы. Я, ещё раз поблагодарив, наконец попробовал чай – с чабрецом. И подумал о кусочке медовой пахлавы.

– Но вы понимаете, нужно будет кое-что учитывать…

Он мог бы не говорить этого. Я сам всё понимал. Иначе бы не сидел здесь с ним на ВДНХ. Сытые, как мой собеседник, утки подплыли к берегу. Я наконец решился отломить пахлавы. Кинул птицам липкий кусочек.

– Зря.

– Что зря? – не понял я.

– Зря вы кормите их сладким. Для них это вредно. Не всем можно много сладкого, а кому-то нельзя вообще. Вы понимаете, о чём я?

Он чуть улыбнулся. Я кивнул, ища спокойствия в чае.

Однако телеведущим я так и не стал. И думаю, это к счастью. В моей нынешней работе столь пёстрое прошлое скорее помешало бы мне. Люди бы обсуждали, перетирали, судачили. Люди вообще говорят слишком много. Пусть говорят, конечно, но лишь о том, о чём мы им скажем – спустим сверху, как червячка на крючке. Такая рыбалка: смотри на экран – и глотай наживку. Вместо телеведущего меня сделали редактором. И отрядили в помощницу рыжую девку, которая всегда заплетала огонь-волосы в длинную тугую косу, похожую на канат, за него, наверное, можно было бы ухватиться в случае опасности.

Она приехала в Москву из Саранска и носила обручальное кольцо, хотя никогда не вспоминала мужа. Во всяком случае, со мной. Только – работа: темы, гости, эфиры. Со мной эта рыжая не делала вообще ничего. Когда я завалил её на редакторскую оттоманку, пролив апельсиновый сок, смешанный с ромом, девка оттолкнула меня так сильно, что пришлось отступить. Хоть по яйцам не ухайдокала – ещё та мразь.

- Вы что себе позволяете?

- Да заткнись ты! Чего ломаешься?

Не знаю, может, эта сука забыла надеть сексуальное бельё. Или у неё шли месячные. Но она мне так и не дала. Надо будет поинтересоваться, как сложилась её карьера после. Уверен, ничего хорошего. Потому что нельзя приехать в Москву из Мухосранска, устроиться на телевидение и таскать обручальное кольцо, как бы говоря: «Да пошли вы все на хрен! Я не даю, ну, только если очень попросите». А если таскаешь, то лучше. поломавшись для вида, всё-таки дать на редакторской оттоманке тому, кому дать надо.

Рыжая, впрочем, меня и не особо цепляла. Просто уже в первый год работы на телевидении – в цветастом здании, будто собранном из конструктора Lego – я заскучал. Даже фильмы для меня предсказуемы и вторичны, как тёлка, приходящая на собеседование в юбке покороче. С телепрограммами же – совсем уныло и постно. Я человек книг – не видео. Чтение – пусть и самое тупое – тренирует. Когда же смотришь на экран, то лишь используешь иллюзию вовлеченности, будто ты и взаправду чем-то занят, а на деле - ты овощ, подключённый к тотальной матрице. Но она не умна, не сложна, не хитра, нет – на том конце провода висят такие же овощи, только потолще; и тебе, Чиполино, баронов Апельсинов и герцогов Мандаринов никогда не подвинуть, не хоботись.

Телевидение – это зоопарк со скучными механическими животными. Меж тем даже в самой тупой школярской заметке есть намёк на творчество. Ты строчишь пропагандистский текст и мечтаешь стать Геббельсом. Может, со временем, кто и опубликует твои дневники. Ведущие же на телевидении – киборги, и внешне, и внутренне. У них нет слов, нет мыслей – всё это лишнее. Единственное, что они должны делать – манипулировать. Хотя это непросто. А вот нажимать кнопки у робота – легко. Их немного, и все элементарны: тщеславие, алчность - ну, вы поняли.

Что у нас там сегодня? Каддафи. Давай фото, где его труп тащат по улице. И в студию специалиста по Ливии. Сейчас каждый второй - по Ливии. Нам бы с образованием…

Проблема заключалась в том, что я сам должен был заниматься чем-то подобным. Да, мы отрабатывали темы, придумывали сценарий, накручивали героев, искали повороты – но всё это рутина, механизмы которой понимаешь через месяц работы. Если, конечно, ты не идиот, как большинство на скотном дворе зомбоящика. Однако лучшие на телевидении всё-таки умеют думать. А вот самые лучшие десятилетиями существуют так, чтобы не растерять эту способность. Они ходят в невидимых шапочках из фольги, чтобы контролируемая глупость не высосала их мозги. Пусть жрут других – на то он и ящик для зомби.

Я научился делать почти идеальные передачи слишком быстро. Это был совершенный конвейер, через который шли политики, проститутки, актёры, политики, спортсмены, психологи, политологи, журналисты, ещё какие-то мрази, приходившие в гримёрку, выжиравшие коньяк, а потом устраивавшие шоу для дегенератов. Телевидение убивает веру в людей, оно не просто расчеловечивает, а кастрирует любое желание быть человеком. Люди становятся похожими на консервы. Собственно, такими они и должны быть. А я заготовщик консервов. Тот, кто набивает ими закрома родины.

На одном из afterparty – из тех, где редакторки (я тоже знаю толк в феминитивах, угу) отдаются сначала грамотно, а после, бухнув или закинувшись, бесперспективно – ко мне подплыл шеф в розовом костюме от Givenchy и в полуспящем бреду пробормотал:

- Мне сказали, ты смотришь на нас ровно.

Слова он говорил чудовищно медленно, будто употребил все барбитураты столицы.

- Не понял.

- Ровно смотришь на мир. – Шеф помотал головой. – А, нет! Трезво.

Он поднял бокал с голубоватой жидкостью.

- Почему? Я выпил пару коктейлей.

- Я не о том...

Он махнул рукой, словно отгонял муху. После поманил за собой. На левом запястье его была повязана красная ниточка. Шеф познакомил меня с веществами. Дельно и продуктивно. И я стал своим.

Почти все, с кем мне приходилось работать, сидели на веществах. Как правило, не для кайфа. Это не тинэйджеры с потасканными физиономиями, словно их заранее обработал FaceApp, ищут «закладки», чтобы поймать сказочного дракона. Они потребители, как и вы. Тупые ублюдочные потребители. Не стану винить их за это. Просто ребята ловят свой кайф. Но нам вещества необходимы для того, чтобы нормально – с отстранением – смотреть на столь отборное дерьмо, как вы. Без веществ на народ не взглянешь. За какие такие грехи нам пришлось жить среди живых мертвецов? Какой ублюдок отправил нас в фильмы Тода Браунинга и Уэйса Крейвена? Где мы свернули не туда? Когда у холмов появились не только глаза, но и когти?

Жизнь в постоянном стрессе. И всё из-за вас. А это, мрак, как изматывает. Ладно, вам плевать на нас. Но как быть с вашей жизнью? Кто предотвратит бегство свиней к пропасти? Без нас вы поубиваете друг друга в смердящих домишках на грязных улицах, кишащих паразитами. А мы хотим, чтобы вы жили, пусть худо-бедно, но жили – и для этого ведь немного надо. Зарплатка, вечернее шоу, фасованная жратва и выезд с бастардами куда-нибудь в лес, к пепелищам костров и ржавым консервным банкам. Жарьте шашлыки, лучше всего друг из друга – и отвалите от нас со своими претензиями!

Вещества помогли мне. Не употребляет лишь тот, кто избавился от боли быть человеком. Остальные - на веществах. И всё под контролем. Всё всегда под контролем. Под контролем. Говори это себе как можно чаще.

Если бы не вещества, я бы угодил в дурку. Или стал бы, как все. Или разделывал бы на шматы рыжую девку. Мужчины лучше всего помнят тех, кто им не дал. У рыжей были бы торчащие, настороженные соски, мягкая кожа цвета деревенского топлёного молока и чуть пухлые волнистые бёдра. Обязательно – чуть пухлые бёдра. На них с внутренней стороны - самая нежная плоть. Не спрашивайте, откуда я это знаю.

Главное – чтобы девка не оказалась толстой, ни в коем разе. Я не люблю жирных, толстых и даже полных; лучше всех спариваются худые, как гончие псины, девки. Беда в том, что их не за что подержать, помацать. Закон компенсации, да. Мир не носит на себе ничего идеального. И всё же, моя шлюха для разделки имела бы чуть пухлые бёдра, деликатесную задницу и сексуальные ямочки на пояснице. Да, и ещё длинные изящные – музыкальные - пальцы, я бы откусывал их по чуть-чуть. Как в ресторане.

Видите, я всерьёз думал об этом. Во время секса и особенно после. Когда вставлял кляп очередной шлюхе в нарисованный красной Rouge Dior рот, хлестал её по щекам и по ягодицам, хлестал до влажной красноты и благодарных слёз – ей это нравилось. Когда лежал один, в липкой испарине, уставший настолько, что не мог даже дрочить. Я думал об этом. Много-много раз.

До того, как в моей жизни появились вещества. Они избавили меня от обременительных мыслей. Спасибо им за это. Своих демонов можно выбрать, точно йогурты в магазине.

Ладно, я должен сказать ещё вот о чём. Если мы тут откровенны друг с другом. Вещества и шлюхи – это не проблема; совсем. Без них, в общем-то, наоборот, скучно жить. По-настоящему я мучился от другого. Так, чтобы всерьёз. Так, чтобы напоминать себе малолетнего дрочера, запавшего на старшеклассницу и не имевшего денег на свидание в кафе. Хотя его муки – скушная маета по сравнению с моими мытарствами. Впрочем, все страдания – маета, если они не мои. И в основе их – не мои желания. Чтобы понять это, не нужен никакой Восьмеричный путь. Просто шли их всех на хрен.

Трагедия в том, что, инфицированный чтением, я хотел писать книги. Как мой двоюродный брат – только лучше. Да, у меня был Jaguar, десяток влажных филлерных шлюх, ответственный дилер, уютная, как мамкина спальня, синекура, но я хотел быть писателем. Известным. Таким, чтобы бледные, костлявые, похожие на советских цыплят филологички приходили в книжные магазины на Арбате или Лубянке, называли мою фамилию и покупали мою книгу. Мою – я неслучайно использовал данное местоимение два раза. Наверное, есть извращение в том, чтобы, имея пароль от wi-fi, раздающего безлимитную сытость, хотеть стать писателем.

Впрочем, мы в России. А тут многие, несмотря на революцию ценностей, заражены вирусом классической русской литературы. Читать у них значит мыслить, существовать. И в конечном итоге всё заканчивается желанием написать свою книгу. Есть ли более невыгодные и маргинальные занятия? Вряд ли. Гнуться над экраном, засылать мушки букв, чтоб они эстетично и ловко сбивались в предложения, а после редактировать и редактировать – кому это вообще надо сегодня? Ради чего?

- А сколько вы зарабатываете?

- Как хорошо продаются ваши книги?

- Сколько платят за экранизации?

Подобные вопросы задавали мальчики и девочки моложавому писателю, давно, впрочем, отказавшемуся от литературы в угоду политике. Он, по обыкновению, размахивал тонкими руками, бросал страстные взгляды из-под выгнутых бровей, метал в толпу стрелы высокопарностей. Сам писатель, впрочем, устроился ловко. Правда, за наш счёт.

Допрос с пристрастием происходил на молодёжном форуме, куда съехались юные журналисты и литераторы. На берегу Чёрного моря. Да, Крым наш – не ваш, суки! Жаль, что вы так и не поняли, чей именно, ха. Я сидел в сторонке, пил молочный улун и наблюдал. Изумлялся, что есть столько тупоголовых наивов, верящих, будто литературой можно заработать. И это в век, когда любое чмо монетизировалось благодаря социальным сетям. Впрочем, они, эти юноши и девушки с фейсами жадных старух, хотя бы не подходили к литературе романтизированно, а спрашивали о деньгах. Пусть писатели давно уже и не зарабатывают литературой. Большая часть из них стала политической обслугой – самые успешные прибились к внештатным должностям, а другие заделались публицистами. Ещё, говорят, эти ублюдки «пилят» гранты и премии – дерутся за крохи, точно злые, взъерошенные воробьи. Неужели и, правда, другого жлобья у нас для вас нет?

- Судьба благоволит тем, кто верит в своё дело! – пламенел моложавый писатель.

А я добавлял про себя:

- Угу, особенно, если дело это никому не нужно…

Какая литература, когда есть школьное порно в Periscope и секс-челленджи в TikTok? Книги – корм для стариков и клещей. Определённо, время, потраченное на создание повести или рассказа, можно провести с куда большей пользой. Устроить революцию в соседнем государстве, например. Или трахнуть певичку с экрана. Что-то весёлое и достойное всегда можно придумать.

Но я был сентиментален и зол. Точно Карамазов. (Достоевскому повезло – в его эру не было интернета). И потому хотел книгу со своим именем на обложке. Пусть её купят не только филологички. Суровые мужики в тяжёлых гадах и армейских штанах подойдут тоже. Все подойдут. Главное – чтобы покупали, читали. Я, конечно, мог бы решить данный вопрос так же просто, как сделать очередной выпуск главного ток-шоу страны. В алчном ожидании застыли литературные негры. Дай сигнал – и они отработают. Напишут книгу за спортсмена, актёра, политика. Последние только засветят лицом на обложке – и всё нормально, super good. Но мне хотелось, от Альфы до Омеги, сделать всё самому: написать и издать текст. Продраться в вечность. Пусть и звучит пафосно.

На телевидении подобное не разрешалось. Там можно было только управлять консервным заводом, просматривать банковский счёт и снимать стресс веществами. Ни на что большее не оставалось ни сил, ни времени. В зомбоящике нет счастья. Если вы думали иначе, то вас, мудаков, обманули. Консервная фабрика высасывала жадно, как шкура коктейль после кокса, вынюханного в туалете Assunta Madre. Ты был энергичным, самонадеянным героем, - почти персонажем Marvel – а стал никому не нужным обрубком.

С литературой всё немного иначе. В ней есть хотя бы иллюзия чего-то настоящего.

Чтобы написать книгу – самонадеянно думалось о романе, - я использовал редкий отпуск. Уехал в Прагу, похожую на резиденцию карликового дьявола. Поселился в Grand Hotel на Староместской площади, рядом с которой жил Кафка. Если ты отравлен литературой и попадаешь в столицу Чехии, то нельзя избежать этого автора. Он настигнет тебя и начнёт процесс. К тому же, произведения Кафки – лучшее, что я читал о телевидении, пусть в них нет и слова о нём. И ещё Гюстав Майринк, да. Потому что у абсурда, определённо, всегда есть обратная – инфернальная – сторона.

Я приехал в Прагу с уверенностью, что вернусь в Москву с готовым текстом, но провёл в люксе болезненные двенадцать дней, мучаясь от каторжной бессонницы и мёртвых строчек. Пробовал писать, но выходила чахоточная, бессильная ересь. Возможно, это было самое трудное из того, что мне пришлось делать в жизни. Я перечитывал написанное – и словно плутал в рыбном отделе супермаркета.

На тринадцатый день я крепко заснул и увидел сон загнанного человека. Крупные высокомерные рыбины плавали в гигантских аквариумах. Рядом висел длинный сачок – я брал его, опускал в грязно-серо-зелёную воду, но чешуйчатые твари выскальзывали из сетки. Или промахивался я сам. Слишком много изматывающих, холостых попыток. Растерянный, я стал звать продавца, но никто не подходил. В рыбном отделе было трагически пусто. Как в Думе первого января.

- Эй, кто-нибудь! Здесь есть кто-нибудь? Помогите!

Но присутствовала только необъятная вонь. Я узнал её. Она заползала в кошмарный сон из детства, когда бабушка в огромной алюминиевой кастрюле варила курицам кашу. Из перловки, очистков картофеля и рыбных ошмётков. Да, я помнил ту вонь. Помнил до блевоты. Она въелась в меня, пропитала мою панику.

Во сне я стал отбиваться сачком от вони как от детского страха. Размахивал, как обезумевший, – так, помню, вела себя кудрявая телеведущая, пережравшая веществ на новогоднем корпоративе – но, потеряв равновесие, рухнул. Зашлёпал руками – человек-пингвин, повалившийся на спину, не понимавший, в каком гробу оказался. Лёд – там было много льда. Он громоздился пластами, откалывался и крошился. Я молотил его руками – на них оставались блестящие льдинки. Можно было бы залюбоваться ими, потому что в супермаркете устроили полную иллюминацию, беспощадную и победоносную, но я слишком перепугался.

Потом наконец поднялся – человек-пингвин совершил почти невозможное. Я стоял на льду, в гигантском холодильнике – так, должно быть, выглядел Нифльхейм, – в нём складировали замороженную рыбу, спаянную в брикеты. Ихтиологический морг – вот на что это походило. А рыбины были строчками в мертвецки холодном тексте.

Такое мне приснилось на тринадцатый день в Праге. И когда, проснувшись, я перечитал написанный мною текст, то, истерически заорав, выскочил из гостиницы и в отчаянии побежал, как псих, к тёмным речным водам. Я никогда не плакал, но у Влтавы, упав, точно алкаш, на сырой берег, отделанный квадратными серыми плитами, зарыдал, понимая, что впервые в жизни не могу добиться того, чего желал больше всего на свете. Так не бывает. Может, с кем-то, но не со мной. Не для того я выбирался из «хрущёвки», умерщвлял и расчеловечивал. Не для того!

- Слышишь?! Ты слышишь?! – орал я, содрогаясь и замерзая. – Не для того!

Но тёмная покойная Влтава не отвечала – лишь вымывала на серые бетонные плиты подёрнутый речной тиной мусор.

**2**

После Праги я возненавидел буро-зелёный цвет. И, конечно, рыбу. Впрочем, последнюю я никогда и не любил, предпочитая мясо – стейк Kobe, к примеру. Но жизнь решила поёрничать, оттого человек, инспектировавший меня для новой работы, носил одежду – нечто среднее между армейской формой и джинсовкой – сине-зелёных и бурых, немарких, цветов. У него было мясистое, бежевого, как у глины для волос, оттенка лицо, состоявшее, казалось, из плохо пригнанных друг к другу деталей. Копна седых волос накрывала большую чурбанообразную голову, приделанную к тонкой шее. Говорил человек так, будто просверливал дыры, выделяя звук «о».

Мы встретились с ним в тесном, как для столь солидного господина, кабинете. С фотографии в золотистой рамке за нами с нежной суровостью наблюдал Путин. Тональность разговора седой человек избрал задушевную. Я опрометчиво решил, что за телевизионные годы оброс репутационным мясом, и со мной начали считаться. Надо было лишь подороже продать себя.

– Вы видите, что происходит на Украине? – человек в костюме цвета речной тины чуть подался вперёд. Взгляд его был до окостенелости серьёзен. – Пара месяцев – и случится большая война.

– Да, – я говорил, как мне показалось, чересчур вальяжно, – вторая Прибалтика. Или хуже. Нам нужна сакральная жертва?

Седой взял «Паркер», повертел в пухлых пальцах.

– Не факт. Но вы правы: хуже, чем в Прибалтике. Тут стоит вспомнить Бжезинского с его великой шахматной доской мира – ну и мразь!

Я бы зевнул, если бы мне позволили. Всегда утомляли геополитические рассуждения с отсылками к Бжезинскому, Киссинджеру или Пайпсу. Все они были из Восточной Европы, кстати. А там знают, как и за что ненавидеть русских. Но вслух я сказал другое:

– Хантингтон тоже писал, что Русская цивилизация невозможна без единства России и Украины...

А сам подумал о вчерашних девках. Седой человек ткнул в меня «Паркером», как указующим перстом:

– Эмигрантские твари попортили нам кровь. – Я мысленно кивнул. Да он телепат! – И ведь ничего нового не придумали. Добрянски? Западенец, вещавший, как русские угнетали народы Восточной Европы. Ну, не сволочь, а?

– И Эрих Нольте.

Собеседник удовлетворённо кивнул.

- Тот немец.

- Но идеи те же.

– Хотя мы бы могли Европу и до Гибралтара себе забрать. Но не прокормили бы, – он хмыкнул. – Ладно, что нам этот Добрянски? О мудаке бы никто и не вспомнил, если б не Эйзенхауэр.

– Он, да, и «Резолюция о Неделе порабощённых народов».

- И ведь до сих пор отмечают эту самую «Неделю». Вот сволочи! До какого там года у них негры не ходили в школы с белыми, а?

– До 1968-го. Как тебе такое, Бичер-Стоу?

С полчаса, наверное, мы вспоминали события, имена, теории, не гнушаясь баловать себя конспирологией. Возможно, со стороны мы выглядели, как два тронутых преподавателя, забухавших после пар в институте. Но я понимал, для чего седой говорил со мной именно так. Щупал, вихлял, хитрил. Контролируемая глупость, прелюдия.

И да, я пришёл в тот кабинет не ради денег. Важнее было убраться с телевидения, чтобы окончательно не разложиться на плесень и липовый мёд. Было и ещё одно: твёрдое, как после виагры, желание - творить будущее. Я намеренно использую пафосный оборот. Приложить ухо к гигантской раковине истории – и отслеживать перемены. А после самому генерировать их. Вот чего я хотел. И ждал своего шанса.

– Когда заварилась каша в Приднестровье, – седой человек почесал лоб, – Ельцин звонил в Вашингтон и спрашивал, что ему делать. Та же история - и с Приштиной.

– Наши десантники…

– Именно. Но, – он сжал кулаки, – времена изменились. И теперь на Украине мы не вправе допускать прежних ошибок…

Седой любил присыпать суть пудрой, но я всё понимал. Уже не мальчик из «хрущёвки». Я ответил на всё идеально и так шагнул в новую жизнь. Определённо, то был щедрый день.

Кабинет на Старой площади я занял позднее. Восхождение по лестнице в небо должно быть постепенным. Тот, кто мчит быстрее всех, загибается первым. Перед Старой площадью я гостил в компактном офисе на Мясницкой. Окна его выходили в затенённый двор. Там крошился неработавший старый фонтан. Одно из немногих мест центра столицы, не осквернённое реставрацией. Офис делился на две комнаты. В одной стояли шкаф и диван – я сразу понял, как стану использовать данное помещение. Во второй – той, что побольше – находился лишь громоздкий стол цвета морёного дуба.

Прошлый арендатор оставил на нём стеклянный шар. Тяжёлая, добротная вещь. Стекло блестело на электрическом свету отшлифованными гранями. Сначала я решил, что шар оказался в офисе не просто-так – может, внутри спрятали «жучок». Потом, усмехнувшись, подумал, что никому я не нужен. Затем решил, что нужен. Я спорил сам с собой о своём статусе минут пять, но в итоге так и не избавился от шара. Позднее он оказался в моём кабинете на Старой площади. Талисман? Нечто вроде того. «Жучков» в нём так и не оказалось.

В целом же я предпочитал вещи посолиднее, пореспектабельнее. И подороже, конечно. Я вообще любил выбирать мебель, продумывая интерьер. Космические стеллажи от Seletti, минималистичные стулья от Artek, элегантные столики от Minotti – таков был мой дом. И тут нет никаких понтов. Просто тот, кто отвечает за Родину, должен жить в комфорте. А так я парень простой, без претензии: предпочитаю футболки от Dom Rebel, а не рубашки от Tom Ford.

Впрочем, тогда на Мясницкой мне было не до интерьера. Я приехал не за ним, а за историей. Донбасский проект стартовал. За годы работы в СМИ у меня накопилась пёстрая масса знакомых: писателей, журналистов, политологов, публицистов, готовых вписаться. Идейно и за бабло. Просто назовите свою цену – и я срежу её на половину. Госбабло надо экономить. Я же не корпоративный барыга - не Джабба, восседающий на нефтегазовых трубах.

Хуже всего работалось с идейными. Они не требовали много бабла, но упирались из-за своих взглядов. Некоторые были просто-таки одержимы. Говорили, снимали, писали чушь, а после упорото защищали её, не отступаясь. В литературе, да, я сам был таким. Ни одна редакторская падла не смела править мой текст. Но то литература, а какой смысл до остервенения защищать передачи, статьи, колонки? Кто вообще возвышает агитпроповскую макулатуру? Просто напиши то, что надо - и получи бабло; don’t worry – be happy. Но идейные не понимали механизмов работы, не соглашались с ними. Они лезли на баррикады, толкали свои концепции и хотели, чтобы им ещё за это платили. Так ты за бабло отдаёшься или по любви, шлюха лиричная?

Большинство идейных я отцепил от проекта в итоге, пусть и не сразу. Комфортнее работалось с теми, для кого Донбасс являлся очередным проектом. Пусть они и не всегда плавали глубоко, но зато не трахали мозг.

Лучше же всех вкалывали те, кто ненавидел власть. Борцы с режимом резво, точно коты к старушке, выходившей кормить их по вечерам, мчали за своей пайкой, потому что привыкли аппетитно и сытно жрать. Чем громче они верещали о ГУЛАГе, сбитых «боингах» и детях, убитых из российского оружия, тем охотнее брали заказы. Глазки их, воспалённые жадностью, блестели, шкодливые ручки теребили накрахмаленную салфетку – они жрали стейки, хлебали коктейли и хаяли власть. Струйка слюны стекала по их неубедительным подбородкам, вилка елозила по мясу, салфетки комкались – борцы возмущались.

- Прекратите поставлять оружие!

Рибай стейк в прожарке middle пустил сок. Старшеклассница погибла под миномётным обстрелом.

- Вы поддерживаете боевиков!

Блестящий нож разрезал сочное мясо. Снайперская пуля пробила черепную коробку.

- Это незаконно!

Вставные зубы жадно пережевали кусок. Семилетняя девочка подорвалась на растяжке.

- Я могу порекомендовать вам панакоту из манго, - сообщил официант с рыжими бакенбардами.

Беременная девушка повалилась на асфальт, половина головы её снесена.

- Это всё омерзительно, просто омерзительно то, что вы творите в Донбассе!

Хорошо, что я попал в подобную историю после телевидения. Иначе бы совсем разочаровался в людях, свалившись в эсхатологическую черноту и злобу. Но я подготовился, заранее надев защитный колпак из фольги. Ни одна гнида не изменила моей убойной, как РПГ-26, уверенности. Я всегда шёл на встречу, зная, что мы договоримся. Я вообще умею договариваться. Не зря прочитал столько книг. Не воспринимайте их только как развлечение или, упаси Боже, как плач по идеалам – нет, это, в том числе, и инструкция по применению. Достаёшь книгу с полки и находишь нужный тип, необходимую информацию: ага, это Одиноков, это Ставрогин, это Татарский, а вот и Обломов… нет, в донбасской истории он не нужен.

- Так панакота или тирамису?

- Тирамису.

Ты выбрал. И ты согласишься. Потому что я знаю твою цену. Знаю тебя. Так что кончай выпендриваться.

Та газета попалась мне в самолёте «Москва – Иркутск». Её предложила стюардесса Гульнара. Я прочитал имя на бейдже цвета благородного золота. У Гульнары были чуть раскосые карие глаза и полные чувственные губы. Она вызывала во мне желание. Стюардессы в бизнес-классе вообще всегда выглядят так, словно готовы тут же качественно отсосать, но сделать это с неизменным достоинством. Гульнара идеально наклонилась, чтобы я смог рассмотреть ямочку меж её грудей – ровно настолько, дабы испытать благодарность к авиакомпании. В бизнес-классе стюардессы наклоняются к пассажиру чуть ниже, чем в экономе.

Я летел, чтобы совершить ежегодное погружение в Байкал. Каждый год я появлялся на великом озере в октябре. На свой день рождения. В стареньком аэропорте Иркутска меня всегда встречала машина. Вежливый, как ГРУ в Крыму, водитель досконально знал, что делать. Только один раз попался тот, кто не знал. Когда он выел меня своей тупостью, я вытащил его, не сопротивлявшегося, на асфальт и колошматил сначала руками, а после ногами, любуясь то вытянувшимися наизготовку соснами, то разбитым в кровавую хлябь лицом. Но это случилось всего один раз. Обычно же водитель здоровался, интересовался, как я долетел, а после отвечал на мои дежурные вопросы о рыбалке и погоде. Если у меня было приветливое настроение, то я спрашивал ещё о какой-нибудь чепухе – вроде того, как местные относятся к губернатору. О президенте я никогда не интересовался – ответ и так был известен.

Когда я умолкал, и тишина длилась минут десять, водитель включал музыку – обязательно U2. Я слушал сопливые песни Боно, этого мейнстримного фарисея, насобачившегося разглагольствовать о голодающих в Африке, глобальном потеплении и прочей попсятине – ирландский говнюк выбешивал. Помню, я рассвирепел, когда узнал, что Боно, как и я, одевается в Dom Rebel. Я даже перестал покупать их шмотьё, но сдался на новой коллекции. Мне всегда нравились их панковские принты.

Прослушав пять или шесть песен U2 (как правило, из Joshua Tree или Achtung Baby), я констатировал:

– Ни голоса, ни харизмы.

И водитель, кивнув, убирал из моей жизни U2 и впускал в неё Black Sabbath. На первой же песне – после того самого убойного спасительного риффа; Боже, храни Тони Айомми! – я начинал орать: “You've seen right through distorted lies. You know you have to learn…”

И после, растрогавшись, полушёпотом подпевал: “When you ask the reasons why. They just tell you that you're on your own…” Пока мы ехали к берегу Байкала, я успевал прослушать Sabbath Bloody Sabbath, мой любимый альбом, и кое-что ещё из бирмингемской четвёрки. И приезжал на великое озеро предельно расслабленным.

Там меня ждал отель, а точнее – camp. Мне нравилось отдыхать в деревянном доме на берегу. Снаружи – изба, но внутри – люкс из Radisson Славянская или Hyatt. Я был один, рядом никто не жил. Только охрана, но она не показывалась мне на глаза. Даже девки казались здесь лишними. Хотя бурятки были насколько коварны, настолько и горячи. Но! Исключительно дом, мангал, баня, рыбалка. И великое озеро. Без копошащихся людей-инсектов, смердевших своими несчастьями.

Но и шашлык, и рыбалка – всё это случалось потом. Даже русская баня. Сначала я должен был окунуться в священные воды Байкала. Один раз в год – в свой день рождения. Я не нарушал эту традицию много лет. Почему? Всё просто. Вода – это жизнь. А в Байкале - самый большой запас пресной воды на планете. Это озеро – сердце жизни. И чтобы переродиться по-настоящему, начав новый год, нужно с головой погрузиться в первоисточник. Обновиться, смыть накопившуюся скверну и обрести силу.

В тот год я привычно совершал ритуал. Разделся догола, попрыгал на берегу, розовенькими мягкими, как у малыша, пятками (раз в неделю педикюр у тайки с оливковыми глазами) прощупал зябкую сырость благородных камней и, разбежавшись, нырнул в хрустальную бирюзовую воду. Окунулся – раз, окунулся – два, окунулся – три. Ух! Студёная бодрость разлилась по венам, насытила изглоданную пороками плоть. И после, не сразу, выждав миг откровения, радость налила душу. Я увидел, услышал, нащупал её. Почувствовал вновь, перепроверяя и убеждаясь, что у меня есть душа – неприкосновенная, заповедная. Никто не мог изгадить, заляпать её; даже я сам – прежде всего, я сам. Душа умела надёжно и вёртко прятаться, когда саранча выходила из дыма, чтобы насыщаться и жрать. Вот и тогда душа укрылась, но святые воды призвали, вернули её, и стало хорошо, несравненно!

После я вышел из благодатного озера – и всё вроде бы оставалось без изменений. Деревянный дом, сложенный из статных брёвен, а рядом – другой, поменьше, с торчавшей, словно кошачий хвост, трубой – из неё шёл дым: топилась баня. Берег уходил ввысь холмами; сначала – холодный, каменистый, серый, а после – изумрудный, багряный, охровый, янтарный, и дюжие деревья стояли, точно пригнанные друг к другу, собранные в одно, монолитное. Внутри меня затрепетало ласковое чувство, что я мог бы разом обнять их, схватив в охапку.

Но вместе с тем где-то внутри, в дальнем углу, теснилось, ворочалось нечто гадкое, боязливое. То, что не примиряло полностью. Я оставался на берегу голый, пёстрое полотенце валялось на деревянной скамье. Я не брал его, прислушиваясь к тому, что поселилось внутри. Пытался узнать, разобрать его. Страх? Разочарование? Что это было? Для точного ответа понадобился бы опытный экзорцист. А так я, одинокий, застыл на берегу Байкала – и долгожданное обновление, за которым я, по обыкновению, мчал сюда, не приходило. Можно было окунуться второй, третий раз – и так до бесконечности, до переохлаждения, но ничего бы не изменилось. Байкал оставался прежним, однако я стал другим – в себе не разобравшимся.

И вдруг кто-то захохотал. Я вздрогнул. Все знали, что во время моего омовения вокруг должна была остаться только природа – никаких людей. Но кто-то хохотал – отчаянно, вздорно. Я шагнул на встречу лиловому смеху. Из ельника на меня пялился коротко стриженный мальчик с раскосыми глазами – бурят, похожий на бастарда Будды (такая у меня пронеслась тогда мысль). Он хохотал так, что глаза его будто втягивались в себя, как крохотные чёрные дыры. И сам он казался не просто нездешним, а потусторонним, впаянным в нашу реальность.

Я закричал ему. Уже не помню что. Побежал навстречу, чувствуя, как от холодных камней немеют ступни, но бурятский мальчик продолжал хохотать. Что его так развеселило? Я бежал с мыслью, что сейчас заткну его, приложу по голове камнем или умеючи задушу. Да, я убил бы его, но он исчез. Не в смысле шмыгнул в ельник – нет, просто исчез. И тогда мне стало страшно и одиноко, как в Праге, на берегу Влтавы. Усилием воли я заставил себя не думать о ледяных рыбах из ночного кошмара, но всё равно услышал звук от удара дьявольских плавников. Так же, как минутами ранее издевательский смех сатанинского Будды.

Однако когда я стал расспрашивать о нём у окружающих, никто не понимал меня. Все думали, наверное, что я брежу от водки или веществ. У маленьких людей всегда одно объяснение.

После нервных раздумий в бессонную ночь я решил, что сатанинский Будда появился из моей вечномёрзлой усталости, накопленных обид и вытесненных желаний. Байкальское чудовище оказалось страшнее лохнесского - оно жрало изнутри. Под утро я понял, - во всяком случае, так казалось - откуда выполз узкоглазый бес: меня сжирала ярость из-за того, что я прочёл в газете, пока летел в Иркутск. Колонку в ней написал мой брат – этот охмурённый чтением птеродактиль. Он размышлял о Донбассе. Борзо и самоуверенно размышлял. Сука! Но я не мог понять другого, более важного – что именно так разозлило меня в той братской статье?

Да, я знал, что мой брат – Антон – пишет статейки. Пафосные, горячечные и витиеватые. В духе Проханова, подсевшего на Pornohub. Русский мир как вписка. Упадок и разрушение – на современный манер.

Впрочем, возможно, кому-то нравились тексты Антона, перегруженные манерной архаикой и келейными соплями о падении нравов. Ведь он каким-то образом ухитрился пролезть в федеральные издания. И его текст, попавшийся мне на глаза, соседствовал с колонкой значительного политолога, отредактированной мной. Пусть я давно и не занимался этим, на то существовали редакторы, ходившие у меня в подчинении, но тут был особый случай. Пришлось дописать пару финальных абзацев. Политологи ведь скучны и пусты, как прощальная записка скупого самоубийцы. Они бубнят загрубелые мантры, тормозя русский рывок, как написал бы брат, сделав отсылку к Бердяеву (насколько же переоценённый философ!). Одна и та же тривиальная скука – из программы в программу, из текста в текст. Фастфуд для народа, который мне ещё нужно аппетитно приправить.

И вот, мой текст, пусть и подписанный политологом, расположился рядом с судорожной прокламацией моего брата. Тот писал:

«В Донбассе, как в окровавленном зеркале, отражается наша Россия, шарахающаяся, неуверенная и тщеславная. Россия не определившаяся, сделавшая шаг, но не дошагавшая. Отражаются и ее люди, озабоченные, не определившиеся, перед которыми, как во все переломные моменты истории, встал главный — идентификационный — вопрос: «Кто мы сегодня?».

Мясо в офисных креслах? Любители хамона и пармезана в симпатишных кафе? Ленивцы в мечтах об all inclusive? Кто мы есть ныне? И заслуживаем ли мы своей огромной великой страны, победившей в самой чудовищной войне за всю историю человечества? Страны, о которой с восторгом писали Достоевский, Толстой, Пушкин, говоря о ее особой, сакральной роли? Достойны ли мы своих предков? Чего мы вообще достойны? Когда выбор заключен между нефтеотсосной жизнью и спасением 2 млн русских людей, коими может прирасти Россия.

Вопрос Донбасса — это вопрос чести и памяти русского человека. Той самой памяти, что извращалась и вымарывалась на протяжении едва ли не всей нашей истории. Памяти, которая выкорчевывалась из русского (не этнически — цивилизационно) человека, подменяясь суррогатом третьесортных псевдоценностей с лживой маркировкой Made in. И, безусловно, это вопрос чести, той самой, которую надо беречь смолоду».

Господи, какая патетичная ересь! Кто вообще пропустил такое в печать? Уволить на хрен этого кочерыгу-редактора! Но das ist faсt: в газете мы как бы стояли рядом - соседствовали. Определённо, именно это меня так и взбесило. Я и он – рядом?! Как так?!

Нормально – когда братья соревнуются. Нормально, правда? Но я ведь не соревновался! Мне это было не надо. Потому что враги должны тебя стоить, вы обязаны соотноситься друг с другом. А если твой соперник – дёрганый горлопан, почерневший от разочарований и водки, то и ты тогда хер с горы, пусть на тебе и галстук Brioni. Но в своей экзистенции ты такой же потерянный loser. А с неудачниками один разговор: so why don't you kill me? Я не хочу стоять рядом с братом, ни при каких раскладах. Да, мы оба отравлены книгами, но его они убили, а меня сделали сильнее. Так что нам делать теперь вместе?

Однажды, когда мы случайно встретились в флуоресцентных коридорах одного из телеканалов, Антон бросил мне зло, что я превратился в чудовище. Насколько же надо пасть, чтобы избрать для предъявы столь замшелую формулировку? Я улыбнулся, с насмешкой глядя на клетчатый пиджак брата, заказанный, наверное, через Wildberries:

– Подожди немного, Антон – и ты станешь ещё большим чудовищем.

Он вскинулся, точно член:

– С чего бы это?!

Я хохотнул:

– Ну ты уже здесь, на эфирах…

Он понял, о чём я толковал. Нельзя переиграть дьявола на его территории. Особенно, если он гопник. И, да, я не удивлён: тот эфир Антон провалил.

Это ошибка всех борцов за правду – их определение, не моё: – они думают, что пролезут в адок, станут бросаться истинами, и всё получится. Главное – подобраться к трибуне. Но всё чуть сложнее. Фокус в том, что правда никому не нужна; её и воспринять-то нормально не смогут. Ведь матрица ещё никогда не была столь примитивна. Media is a massage – да, но media is a massacre тоже. Лихорадочные люди, вроде Антона, думают, что их враги – те, кто не даёт им говорить. Но на деле враги – те, кто не способен слушать. Пресловутый народ и есть главный оппозиционер.

Разочарование здесь неизбежно. Оно так же неотвратимо, как новая коллекция Gucci. А после разочарования всегда появляется жгучая злоба, тотальная и бескомпромиссная. Злоба, мешающая думать и жить. Злоба, выжигающая человека. Злоба, в конечном счёте лишающая способности сострадать. Нельзя сломать систему. Можно лишь в неё встроиться. Всякий раз, когда мечтаешь о fuck the system, ты лишь пытаешься трахнуть себя в жопу. Помни это, дружок – и найди себе умелую страпонессу.

И Антон это рано или поздно поймёт. Уже понимает. Я вижу, чувствую это по его истеричным постам в фейсбуке.

Впрочем, если мы тут играем в девочек, шепчущих друг другу свои секретики прежде, чем залезть в трусики, то не стану брехать: были моменты, когда я не то чтобы соревновался с Антоном, но щупал его жизнь. Так эскортницы взирают на других шлюх – тех, в ком видят соперниц – и даже, если те мымрас, всё равно сравнивают себя с ними. Оценивают не всё, а лишь образцовую, репрезентативную часть. Она есть у каждой бабы, даже у самой мрачной, той, которую Гоген рисовал с похмелья. Натренированный взгляд выхватывает лучшее – губы, задницу или сиськи - и сравнивает их с собою. Ну как? Почему бы тебе не подвинуться, детка?

Одно было веско в Антоне: он умел писать книги. Конечно, со временем разочарование лишит его и этого мастерства, талант истончается злобой, однако пока - брат ещё может. Я читал два первых его романа. О них мало говорили, им не дали никаких премий – слишком всерьёз о серьёзных вещах - думаю, и продавались они паршиво, но написано было здорово. Признаю. Вполне классические вещи, как саббатовский Paranoid.

Иногда я думаю об этом – и свирепею. А иногда, очень редко, наоборот – хочу помочь. Стоит запустить обкатанный механизм – и у книг Антона появится пресса. Ему дадут пару-тройку литературных премий. Скольких ремесленников с их «так жить нельзя» и «Сталин, ГУЛАГ, травмы» мы уже наплодили? И ведь кто-то покупает их скуку. Антон хочет быть продаваемым, знаю – играть в Мастера без Маргариты и ничего не просить вредно и утомительно. Брат не спит от невостребованности, но видит своё признание, укрывшись в нежно-зелёной, как мускатная дыня, квартирке в Медведково, заставленной фикусами, кактусами, бегониями, фиалками и прочей флористской дрянью, названия которой я не знаю. (Гостил у него один раз. Уже и не вспомнить повода). И ещё я думаю, он хочет попросить у меня помощи. Но, ясное дело, не может. Слишком горд, слишком независим. Брат, брат, брат. Тебя кончат твоими же принципами. Вонзят, как пики – и провернут.

Однако я могу признать, пусть предварительно и скрепя себя титановыми пластинами: моя повесть написана хуже, чем романы моего брата. Чуть хуже. Совсем чуть-чуть. А, может, и нет. Дело вкуса. Но когда я оказался в «Библио-Глобусе», этом кладбище книг, из которого бы нацисты устроили самый яркий костёр на грешной планете, то отыскал свой текст в том же отделе, что и романы Антона. Они стояли двумя полками ниже. Моя книга красовалась на лучшем месте. Так надо. Так мы условились. И в электронном справочнике она была отмечена зелёной плашкой «Хит продаж». Не без токсичного маркетинга, конечно, но всё же. А книги Антона – нет.

То был эклектичный момент. Луна стремительно обернулась разными сторонами. Когда я увидел зелёную плашку «хит продаж». Это значило, что мою книгу покупают и читают. Однако на ней стояло чужое имя. Оттого я кайфовал и ломался одновременно.

Да, я издал свою повесть, когда перешёл на донбасский проект. Мысли поддались дрессировке и, точно по клеткам, распределились по главам. На телевидении заниматься литературой было решительно невозможно. Оно высасывало мозги и душу через антенну-трубочку. Всё-таки никто не избежал зомбификации в этом адище. Пришлось из него сбежать, чтобы написать повесть. И Влтава с её мусорными водами отступила. И Прага устранилась. И Grand Hotel. И Староместская площадь. И Кафка. И Майринк.

Но когда книга была написана, а издатель найден, всё могло кончиться. Если бы я дал свою фамилию на обложку. Тогда меня бы вырезали из истории, как второстепенного персонажа из сиквела. И объяснения, почему его там не оказалось, даже бы не пришлось искать. Это было бы странно, если бы такой человек, как я, вдруг написал книгу. Ещё и с таким содержанием. Что бы я рассказал шефам? Да, занимайся тщетой, но в тишине. И главное – что бы говорили обо мне? Просканировали бы всю биографию.

Таким людям, как я, нельзя публиковать книги. Потому в спа-гостишке, изолированный ото всех, я принял решение. Публиковать без моего имени на обложке. К счастью, здравый смысл не самоубился. Он оказался сильнее идиотских юношеских амбиций. Вот она – книга. Вот он – мой текст. И неважно, что на обложке другое имя. Смерть автора – смерть до конца; салют, месье Барт!

Да, я всё правильно сделал. И люди покупали мой текст, потому что он был хорош. Наверное, хорош. Классное издание, приоритетная выкладка – это бонусом, ясное дело, всё обеспечил, но я не скупал свои книги, как то делают амбициозные литераторские морды (или мы за них делаем, если толстолягие состоят на службе). Я не просил никого и ни о чём в котловане патологического кумовства, в котором похоронили российскую – не русскую, нет - литературу. Мне особенно понравились две рецензии на мою книгу. Я прочитал их сразу и перечитывал потом. Люди просекли, о чём я писал. Кайф! Что ещё надо автору?

Я дал чистый лист. Никаких бэкграундов. Никаких вводных данных. Полное стирание личной истории. Нет Дона Хуана, нет Карлоса – ни единого фото, ни одной строчки в биографии. Только текст.

Но он был хуже, чем в книгах Антона. Чуть хуже. Совсем чуть-чуть. А теперь Антон высунулся со своей статьёй. Но не в ней сидела бацилла раздражения, нет. А в том, что я наконец вспомнил: мы братья, и стоим рядом друг с другом, почти как равные. Впрочем, плевать на раздражение. И на бурятского мелкого Будду плевать. И на то, что я зашёл в Байкал неподготовленным. Так или иначе, вызов принимался.

Я взял айфон – нашёл ту статью Антона. Пробрался сквозь замшелый пафос – и, сосредоточившись, увидел адекватные смыслы. Впрочем, кто бы всунул в «Известия» не агитпроп?

Ища номер Антона в айфоне, я вспомнил, как в юношестве мы играли с ним в литературных героев – кто назовёт их больше.

– Раскольников.

Но говорить надо было не на последнюю букву, а просто – кто больше?

– Базаров.

– Онегин.

– Рокантен.

– Мерсо.

И так - до утомительной бесконечности. Определённо, пришло время поиграть с братом вновь.

Антон не удивился моему предложению встретиться. Или сделал вид, что не удивился. Хотя самообладание – это не про него. Он истеричный, словно певичка, которой не хватает бабла на новую грудь.

Я предложил состыковаться в «Субботице». Антон почему-то не согласился. Может, не любил сербскую кухню. О’кей, но нам нужно приличное место. Ты знаешь их лучше, хмыкнул он. Я злился – и мне это не нравилось. Но мы всё-таки договорились о встрече – в «Эль Гаучо».

На мне была футболка Motorhead и толстовка Stone Island – я намеренно не хотел выглядеть упаковано. Это лишнее с такими людьми, как Антон. Они могут начать скулить о рабстве консюмеризма и закончат нудёж высокопарной телегой о голодающих детях. И дело не в том, что они реально так думают – нет, просто не могут себе позволить luxury и жадные наскоки в Милан или ЦУМ, а потому им надо придумывать оправдания. Антон опаздывал. Он, кажется, вообще никогда не приходил вовремя. Я заказывал вторые сто грамм текилы El Reformador, когда брат наконец появился.

Определённо, он слегка поплыл от этого ресторана. Здесь всё было чинно: сервированные столы, разделанные мясные туши, украшенные перцем и томатами, деревянная барная стойка и балки. Антон, похоже, давно не бывал в таких местах. Откуда? От совсем растерялся, когда взял электронное меню. То доставляло ему дискомфорт – Антон привык к бумаге.

– Гаспачо за 4900? – он даже вздрогнул. – Там что – томаты из Эдема?

Литераторы – такие литераторы.

– Сомневаюсь. Слушай, ты бери, что хочешь. Я пригласил – я угощаю.

– Да дело не в этом, – он, наверное, хотел добавить, что может и сам заплатить, но не стал понтоваться, – просто я не понимаю, как томатный суп может стоить 4900.

– Стоит не суп, а место, - я ухмыльнулся, - чтобы лишние здесь не появлялись.

– Да уж, не для Макаров Девушкиных место.

– Но Рогожин легко бы его потянул.

Неслучайно я вспоминал, как мы играли в литературных героев. Отравленные книгами. Эта инфекция останется с нами навсегда – хроническая, от неё не избавиться. Но был свой кайф в том, что я и Антон понимали друг друга, говорили на одном языке литературы. Собственно, он оставался одним из немногих интересных мне собеседников.

– Motorhead?

– Ну, ты знаешь, я всегда предпочитал тяжелее, чем ты.

Я говорил о музыке, но вышло так, словно речь шла о чём-то другом. Антон бухал, да, но вряд ли сидел на веществах. Хотя за те полгода, что мы не виделись, он осунулся, постарел, спаялся с несчастьями. Тёмно-фиолетовые тени под уставшими глазами. В лице добавилось жёлтого – печень отправляла приветы, а борода, за которой Антон не всегда аккуратно ухаживал, забелела седыми пятнами. Рот оставался прежним, почти не артикулированным – губы будто срезали ножницами. Борода не маскировала этого уродства, которого Антон, я знаю, стеснялся. Большие влажные глаза – карие, с белками в красноватых прожилках – брат отводил, пряча растерянность. Определённо, Антон катился по намеченному мной маршруту – в разочарованность. Трагическая дорога. Трагическая вдвойне из-за своей предсказуемости.

Вид Антона был жалок, но, тем не менее, он хорохорился. Хотя от него и разило неудачами. Этот токсичный запах не скроешь. Женщины чувствуют его лучше мужчин. Ферромоны – да, но куда важнее – перспективность и шлейф успеха. От Антона же пахло кислыми, забродившими бедами. Такие персонажи мне часто встречались. Но одних можно было отмыть, а другие шли в расходные материалы. Я определял это сразу. За подобные умения меня в том числе и ценили.

Помню, мы встретились в рюмочной на Сухаревской с одним историком. То были редкие дни, когда в Москве видели яркое солнце. Весна выпустила столичных пленников из одиночных камер. Но историк всё равно припёрся в жутком болоньевом плаще, точно ещё час назад снимался в сериале о советских инженерах и забыл вернуть реквизит. В руках он зажал облезлый портфель с крупными стальными застёжками. Вцепился так, будто прятал там нечто ценное, но на самом деле держался за него как за последний кусок осыпавшейся реальности. Историк был затрапезно небрит, веки его набрякли бордовыми складками. Определённо, этот старый ублюдок, похожий на вчерашнего интеллигента, пропившего мозги и наследство, пришёл на важную встречу с адского перепоя.

Любой другой тут же бы послал его на хер. Особенно тогда, когда он попросил сто грамм и выжрал их, не притрагиваясь к закуске. Но я не отправил его обратно в яму, из которой он вылез, а, наоборот, остановил падение. Потому что важно читать людей. И заранее собирать о них информацию. А я знал, что этот задрыпанный ублюдок, измученный нищетой и боярышником, написал отличную книгу по украинской истории. И даже дал там прогноз, который в итоге сбылся. Этот ушлёпок, которого без меня даже бы не пустили в рюмочную, чувствовал историю, как кобель сучку.

И я отмыл его, купил в Henderson сумеречно-синий костюм – вернул к жизни. Как блудного сына. Теперь он сидит на эфирах и вещает нужные нам пророчества. У него уже нет бомжовской щетины, веки его не набухают свекольными красками, хотя общая измятость ещё сохраняется, но людям это даже нравится. Историки в эфирах должны выглядеть так, словно они вот-вот оторвались от изучения книг - всего на минуту, - чтобы донести своё мудрое слово. Он ценный кадр, этот историк. И не было нужды умирать ему не в своё время.

Но с Антоном – всё по-другому. Он слишком горд, слишком упёрт – слишком в себе. Человек в футляре, который придумал и нацепил сам. А что под футляром? Начитанность, интеллект, проницательность и воинствующая непокорность. Себе на уме – да, хотя ум его, определённо, стремителен и уверен. Я хотел, чтобы он использовал его так, как мне было надо. Но для чего? Антон со своей органичной искренностью мог бы оказаться весьма полезным, но ведь обязательно наступит момент, когда он начнёт делать то, что не предписано. И случится конфликт. И придёт разрушение. И мы вспомним обиды, которых за спиною - мешок, и достанем их, и станем швыряться, точно камнями, друг в друга. Тогда для чего это мне?

Слабость. Въедливая детская слабость. Казаться сильным, большим. Так старшая сестра увлекает за собой младшую, хочет верховодить. У кого-то получается делать это всю жизнь, но большинство вскоре разочаровывается. Потому что младшая становится взрослой – и не благодарит, а чаще – наоборот. И всё же мне нравилось быть покровителем. Быть благодетелем. Возможно, это компенсация. Скорее всего, компенсация. Маленький кайф. Но за него, как и за кайф от веществ, надо платить. И я помню каждого из предавших меня, из тех, кому я помог. Делать человеку добро значит делать себе хуже. Больше всего наказывают за благие намерения. Ведь люди не понимают, когда им делают добро просто так. А из непонимания вырастает ненависть. Они привыкли зарабатывать, а не получать милостыню. По-своему это их оскорбляет. Чем больше добра ты сделал, тем болезненнее тебя предадут.

Я выбил это для себя на скрижалях. Вызубрил. И никогда так не поступал. Последний раз я ошибся с Лялей, когда затащил её к себе на телевидение, а потом эта сука пыталась спихнуть меня.

Однако с Антоном я решил попробовать вновь - стать благодетелем. И это была не моя вина. Просто я заболел. Болезнь называлась фантазия. Она червь, который выгрызает морщины на лбу. Она лихорадка, которая заставляет бежать всё дальше. И она же последняя баррикада на пути к счастью. Но, с другой стороны, Антон мог быть реально полезен. Пусть это и звучало как самоуспокоение.

Потому, когда он доел свой гаспачо и ростбиф, принявшись за коктейль на основе писко, я сделал предложение, прикончив третьи сто грамм El Reformador. Антон завис, повертел в руках серебристый Xiaomi со стикером Льва Толстого. Наконец, сказал:

– Перекурим?

Я кивнул, хотя к табаку был равнодушен. Мы спустились на первый этаж, пройдя вдоль деревянной барной стойки, за которой статный брюнет с будто нарисованной эспаньолкой протирал бокалы. Такому бы не в московском кабаке работать, а в подтанцовке у Дженнифер Лопес, трахая её в конкуренции с остальными. Вышли в московскую зябкость. Бесконечные машины месили снежную кашу, окрашивая её сначала в мышино-серый, а после в угольно-чёрный цвет.

– Знаешь, как на Украине говорят о такой погоде? – Спросил Антон, закуривая. – Мряка! Отличное слово. – Смакуя, он повторил ещё раз: – Мряка! Узнал на Евромайдане.

Да, я просматривал его текст об украинских событиях. Антон вроде бы оказался на Майдане во время расстрелов. Видел, как убивают людей. И толку?

– Будешь? – Антон протянул красно-белую пачку. Я взял одну сигарету. Так лучше устанавливать контакт. – Речь именно о рассказе?

– Необязательно. Если чувствуешь, что можешь написать повесть – пиши. – Мы наконец всерьёз заговорили о деле. – Ясно, что оплата будет выше.

– А роман? – Он курил слишком жадно и слишком много. Его пальцы были цвета мокрых опилок.

– Чувствуешь, что есть силы?

– Силы? – Он усмехнулся. – Есть идеи.

– Идеи приветствуются.

Он помолчал. Двумя пальцами пульнул окурок в подтаявшую жижу. Тут же закурил вновь, щёлкнув «ашановской» зажигалкой. Я сделал всего две затяжки. Сигареты отдавали нефтью.

– Это всё замечательно, конечно, но, – я не отводил взгляда, – почему бы тебе не нанять более известного писателя? Тем более, есть же лысый. Его погоняй.

Он усмехнулся. Видимо, хотел показать, как легко воспринимает данный вопрос. Но смешок получился жалким, болезненным. Под стать московскому сплину.

– А ты сам как думаешь?

– Не отвечай вопросом на вопрос. Мы же не в детстве.

Он, как и я, помнил все эти присказки, вроде: «Первым спросил – первым и отвечай». Глупость из детства - роднит.

– Нужен нерв, искренность. – Он поморщился. Мне и самому не нравилась столь дряхлая банальность. – Я читал твою колонку в «Известиях». Там есть, – чёрт с ней, с полнотой слов, – боль за людей. Ты был на Донбассе?

– Нет, – он, похоже, смутился.

– Ещё съездишь. На день какого-нибудь города, например.

– Это не подойдёт. Лучше с гуманитаркой.

– Можно и так. – Я сделал затяжку. – Поэтому я и предлагаю тебе. Можно было бы найти другого. Предложить ему деньги, продвижение – ну, ты понимаешь. Но это херня. Важно – чтобы автор сам хотел написать о людях Донбасса. Чтобы он сострадал. Как русский писатель.

– О людях – это замечательно, конечно. Но ведь там будут не только люди. Это же про уродов и людей, на самом деле. – Я понимал, о чём он говорит. – Ты же в теме, так почему во главе такие уроды? Взглянешь на эти морды – и уже ни во что не веришь.

– Антон, – я сделал шаг навстречу, – думаешь, было из кого выбирать?

Он кивнул.

– Ладно. А сроки?

– Месяца хватит?

– Мало.

– Два – не больше, – я улыбнулся, но жёстко. Так, чтобы он всё понял.

– Хорошо.

Мы вернулись в «Эль Гаучо». Я попросил счёт. Антон даже не потянулся к бумажнику. Делал вид, что занят перепиской в телефоне. Я расплатился карточкой. Оставил чаевые: голубые бумажки легли на белую скатерть. Когда мы вышли, Антон, вновь закурив, спросил:

– Сколько ты заплатил?

– Какая разница?

– Сколько? – уже с нажимом повторил он.

– Чуть больше двадцатки.

– Ясно, – он дымил, как сломанный карбюратор, – а ты предлагаешь мне за повесть не больше сотни.

О, я ждал, когда Антон начнёт торговаться. Он должен был сделать это раньше.

– Это разные деньги. Из разных кубышек. Но хорошо, – я внутренне ухмыльнулся, – если хочешь, можешь писать колонки о Донбассе. За дополнительное финансирование, ясное дело. Но так, чтобы не отрываться от книги.

Антон улыбнулся так, будто морду его рассекли ятаганом. Повалил влажный снег. Коснувшись земли, клейкие снежинки таяли на потемневшей жиже.

– Одна-две колонки – в месяц. Двадцать тысяч – каждая. Это бонус. Пиши.

Разговор затянулся. Я устал от нерешительности Антона.

– Хорошо, ладно.

- Значит, договорились.

Мы пожали друг другу руки. Когда я уже отвернулся, чтобы идти, Антон вновь окликнул меня:

– Один момент, Слава.

Неужели ему потребовалось столько времени на вопрос, который он хотел задать в самом начале? Определённо, Антон был ещё жальче, чем мне казалось. Нереализованность, одиночество, разочарования – всё это скукоживает, потрошит. Но не настолько же?

– Конечно, – я повернулся.

– Почему ты не напишешь эту книгу сам?

Как же ты предсказуем, брат! Как тёлка, идущая в ресторан и берущая с собой упаковку презервативов. Я мог бы ответить Антону правду, если она в принципе существует, эта правда – сказать, что не хочу мараться, потому что литературу нельзя писать под заказ; собственно, только её и нельзя. Пусть и на обложке не окажется моего имени. Мог добавить к этому, что как только он станет писать заказанный мною текст, его талант нащупает бреши и вытечет через них, а то, что останется, испарится; талант нельзя продавать ради конъюнктуры за пару сребреников. Всё это я мог бы сказать, если бы оказался таким же мудаком, как и Антон, но мы шли разными курсами. Мой мне нравился больше. Поэтому с мягкой, уютной улыбкой я произнёс:

– Потому что ты сделаешь это лучше.

И пусть я, как охотники на картине Серова, убил только одного зайца, - пока что только одного – зато он жирный, и я охотился за ним слишком долго. Антон, видимо, неслучайно твоё имя рифмуется столь однозначно. Пусть это и детский сад. Но ведь и мы, Антон, когда встречаемся друг с другом, превращаемся в голопузых сладких мальчиков, спорящих за расколотую игрушку.

Антон стал писать четыре статьи в месяц. Больше условленного. Увлёкся парень, загорелся баблом. Каждую неделю он присылал мне текст. Я просматривал – и кое-что правил. Впрочем, с Антоном мороки было немного. Он попадал в ритм, в настроение. Хотя после первого текста, точнее - после моих правок к нему, брат ещё спорил с надрывом. Они ведь почти все такие, писатели. Любят себя от и до. Но ничего, хочешь денег – прогнись и подставь жопу. И скажи спасибо, если после этого тебя не трахнут. Хотя тут к другим ведомствам. Не ко мне. Просто каждый, кто пишет, снимает, болтает – каждый, что хочет от нас бабла, должен уяснить: незаменимых нет. Точка.

Да, Антон слишком увлёкся. Я чувствовал, как, отправляя очередной текст, он нетерпеливо подсчитывает бабло. Какое тут творчество? Какое сострадание к людям? Их не рассмотреть сквозь дензнаки. И тут все одинаковы. Это злит. Хотя толковое парнокопытное не заваливается спать там, где съело морковку - оно пробирается к большой кормушке. Успех всегда лежит вне зоны комфорта. Пусть это и звучит, как рекомендация по личностному росту для дёрганых менеджеров.

Мне пришлось позвонить Антону. На встречу не наскреблось ни времени, ни желания.

– Как продвигается книга?

Он промямлил что-то в ответ. Закурил, наверное. Такие без сигареты не ведут разговоров.

– Сколько уже написано?

Было слышно, как он выдохнул табачный дым.

– Антон, давай так. Сосредоточься на книге. Не надо эшелонов колонок. Ладно?

Он начал оправдываться – зло и резко. Задели творца за живое – пнули в брюхо. Ничего. Творцы нам тут на хер не нужны, как завещал Ханин.

– Надеюсь, мы поняли друг друга.

Он опять пробубнил что-то в ответ. И тогда я психанул:

- Ты теперь работаешь – слышишь? Не волоёбь!

Антон не стал перезванивать. Не стоило мне срываться. Он ведь всего лишь хочет больше денег. Как все. И это мешает ему. Обрастает чувством собственной важности – слой за слоем. И нужно периодически чистить эту луковицу – так, чтобы без слёз и с пользой. Он должен служить не из-за денег. Или, хотя бы, не только из-за денег. Иначе ему никто не поверит. Serve the servants — oh no.

Впрочем, подобную – алчную - ошибку совершают не только морлоки, нанятые для создания фона, но и элои. Те даже ещё тупее и гаже. Полагают, будто вещать о героическом Донбассе, обстреливаемом мерзкими украми, достаточно. Ну-ну. Кровь и жертвы, воля и героизм – этот коктейль забродил. Не сегодня – завтра он начнёт испускать вонь. И луковые головы, жрущие смузи политических ток-шоу, закроют глаза и зажмут носы. Они решат, что их наебали. Как, впрочем, всегда. Сейчас они ещё несут консервы, шмотки, муку, чтобы передать на Донбасс. Потом это им надоест. А те, кто приедет оттуда, из зоны войны, захотят обустроиться. И разгорится конфликт. Загремит новая война на другой территории – с меньшей кровью, но почти с той же злобой.

Ведь на тех, кто на Донбассе, почти всем насрать, как бы жалостливо не нюнили каналы. И со временем высота дерьмовых куч станет больше. Погребёт под собой несчастных. Тысячи, десятки тысяч человек. Они разочаруются, а, следовательно, обозлятся. Рассвирепеют. Плевать на морлоков. У них просто отберут классное развлечение. Страдать по судьбе Донбасса всяко лучше, чем следить за судьбой очередной ранетки. Духоподъёмнее, как любил говорить Архип Осипович. Но вот для тех, кто заперт в Донбассе – это не развлечение, а искалеченная, выпотрошенная, испепелённая жизнь. Ради чего их решетили пулями и вскапывали снарядами? Ради картинки? Ради территории? Калеки, лишенцы, бездомные захотят отомстить. И отомстят. Свирепо и грозно.

Но элои не понимают этого. Не хотят понимать. Впрочем, иначе не будет. Так что не стоит трахать мозги. Ни им, ни себе. Лучше задавить в себе это мрачное видение будущего – приглушить, затенить, отодвинуть. Девками, веществами, работой. Нет, это не работает, знаю. Во всяком случае, не всегда. Действует только настоящее, разливающееся алым пятном на столе цвета морёного дуба, и я застыл возле стеклянного шара точно гадалка, раздающая мрачные предсказания. Не лезь, опасно, высокое напряжение.

Ладно, ещё одно. Последнее. Сирые и обиженные твердят, что ни в чём не виноваты, что это всё другие – те, которые ухватились за власть и держатся за неё, как телёнок за мамку. Всё это они, они, – вредители! - а мы, люди, народ, так, сбоку припёка. Припёка с подгоревшей корочкой. Сколько десятилетий – нет, столетий – слышится этот стон? Странное утверждение, нелепое, вредное: народ, он, мол, хороший, в нём скрыта некая сакральная мудрость - та, что спасёт в трудный час. Когда в лихие года пахнет народной бедой, и из леса выйдет старик, а глядишь - он совсем не старик, а напротив, совсем молодой красавец Дубровский. Тут Боря прав. Народ и, правда, верит, что над лесом кружит аэроплан со спасителем на борту. На деле же – он, этот аэроплан, стоит в тёмном ангаре, и заправить его нечем. Топливо не подвезли.

Так что Родина, как свинья, продолжит жрать своих сыновей. Но и сыновья с дочерями тоже подъедать станут. Хотели войны? Получите! Люди обожают войну, я это точно знаю. Все наши герои – не из мирного времени. Даже Христос – тот, который учил любви – принёс не мир, но меч. Согласен, вырвано из контекста, но на то и Библия – чтобы выбирать самые яркие фразы. Однако если бы большинство, назовём его так, теми или иными способами надавило на власть, то, конечно, ничего бы не изменилось, но, возможно, у некоторых проскользнула бы мысль: «Что-то не так. Определённо, что-то не так». Но вместо этого – тягучая, дородная тишина. А значит, всё так, хотя беспощадно утюжат Донбасс. И будут утюжить дальше. Пять, шесть, семь лет. В буферной зоне на крови.

- Позвольте, а как же люди? – для вида воскликнет кто-нибудь сытый.

- Нужно остановить войну, - глубокомысленно, с чувством заметит другой, не менее сытый.

Но со временем и подобное говорить перестанут. Найдутся новые темы. Главное, чтобы никто не высовывался. Всё должно быть относительно ровно. А если кто-то сильно подрос – лихую голову с плеч. Заметны должны быть лишь те, кому это нужно для рейтингов. Такие заранее одобрены, утверждены – как на шоу талантов. Зрители выберут своих героев. Этот полевой командир. А этот писатель. А вот отважная певичка. Или добросердечный министр. В итоге выживут только любовники. Те, кто даст власти. Остальные подохнут. Зрители будут смотреть – и горевать. Ну, как же так, моего любимого героя исключили из шоу?

Но ничего. Смотрите, хавайте, наслаждайтесь. И главное – радуйтесь, что это происходит не с вами, не в ваших домах. Вот в чём секрет. Зритель кайфует от того, что зло вдалеке – на всех не хватит. И есть возможность сопереживать, сострадать – даже отправить через какого-нибудь подставного мудака пятьсот рублей «детям Донбасса». Злой, циничный сценарий. Но он делает жирную кассу. В реальном времени, с реальными трупами. Только страдание здесь и реально. Остальное – фикция, симулякры. Вроде игры, в которую можно сыграть на компьютере. Но и она, если долго рубиться, утомляет, изматывает.

**3**

Новый Год я встретил со шлюхами и веществами. Традиционно. Есть три дня в году, когда можно отдохнуть на пределе: день рождения, Новый год и девятое мая. Точнее, десятое мая, потому что девятого – утомительная сонма мероприятий. Прежде всего, надо поздравить недобитых – как они сами себя называют. Да, у ветеранов всё в порядке с самоиронией – да и не только с ней; они вообще сверхлюди. Но с каждым годом их меньше и меньше. Уверен, когда исчезнет последний, наступит наш, местный, апокалипсис. Потому что Россия, её государственность, держатся на Девятом мае. На Победе. Их Победе, на самом деле. Не нашей.

И только в новогоднюю ночь можно - и нужно - перезапустить жизнь. Не так, как на свой день рождения – не в чистоте на Байкале, нет, а шумно, блудливо и гадко, как в гримёрке молодых Motley Crue. Беспробудная вечеринка в стиле sex, drugs & rock-n-roll - классика, знаете ли, не устаревает.

Однако в ту нервную болтливую ночь что-то пошло не так. Глядя на игравшихся шлюх, почти неотличимых друг от друга – филлеры, гиалуронка, полимолочка, ботокс; набор юного химика, не иначе - я до раздражения не мог расслабиться. Словно не кончил после трёх часов траха. Всё вроде бы шло, как всегда, но одновременно стало другим – шатким, осыпавшимся, валким. И оставалось лишь совершать действия на автомате, веря, что привычный функциональный набор разгонит кровь, настроение. Потому я пил и вдыхал, вдыхал и пил. Парился в бане, сигал в бассейн. Танцевал. Шутил, ржал. Давал в рот, фистинговал. Но всё равно чувствовал себя то Рокантентом с его тошнотой, то Мерсо с его равнодушием. Да, всё суета сует и прочая суета, но, как выяснилось, даже суета бывает та или не та. Не помогал даже безотказный chemsex.

- Эй, Мона, - в последней надежде крикнул я черноволосой с татуировкой Моны Лизы на плече, - а ну, ползи сюда…

Она улыбнулась по-сучьи.

- Может, и Лику?

Обняла рыжую, полногрудую девку, потеребила ей набухший сосок.

- Ну, давайте вдвоём, - лениво махнул я.

Они - две лисички с рыжими хвостиками на анальных пробках - подползли ко мне на четвереньках. Облизали пальцы. Я поставил ноги на Мону и Лику, как на подставку. Оскорблял их, тушил окурки о бронзовый загар, но - не расслаблялся. Даже тогда, когда до крови искусал бёдра Моны. Она орала, сука, но терпела, боясь спугнуть хозяйский кайф.

Однако прихода – не химического, морального – не случалось. Что-то сдвинулось во мне. Как тогда, когда прострелило спину в самолёте, летевшим в Берлин. Только сейчас переклинило душу. Возможно, кто-то проклял меня. Не знаю. Или просто я смертельно устал. Смертельно, да – точное слово. И умирание затаилось во всём, что окружало меня. В глубокой трещине на дубовой балке. В едва заметной сетке морщин вокруг серебряно-серых глаз Моны. В мушке-родинке на изящной шее Дианы. Кстати, если кто не знал, женская красота – не в сиськах и письках, а в шейных изгибах. Я искал знаки конца, но мир оставался цельным, здоровым – не до конца разрушенным, в отличие от меня. Только я в нём казался чужим, больным, грубо встроенным. Живые тела вокруг - живые, да, я убедился, искусав Мону – только усугубляли моё состояние.

Может, стоило прикончить двух украинских шлюх? Возможно. Чтобы смерть не завидовала жизни. Но не случилось. В ту ночь я вконец обессилел. Не способный ни на секс, ни на насилие.

What’s going on? И Марвин Гэй – тут ни при чём. Профессиональная деформация – я подумал о ней в первую очередь. Как о причине своих несчастий. Никто ведь не застрахован от того, чтобы работа умучила его. Выдавила, как остатки пасты из тюбика. Жадная, экономная тварь. А такая работа, как у меня, изматывала, по умолчанию. И по-своему извращала. Наверное, оттого я потух, захандрил. Вокруг хватало того, что могло меня расшатать.

Каждый день я встречался с ублюдками, размышлявшими о войне в Донбассе, словно о капиталовложении. Выгодном или не очень.

- Вячеслав, может быть, стоит запустить проект о героях?

- Попробуйте, - отвечал я.

А затем мне приносили бравурные истории тех, кто и без того подсвечивался в телевизоре. Герои Донбасса. Ага, как же! Этот командир трахал девок, пока его пацаны отбирали бизнесы. А этот стрелял и пытал, рассказывая, что поймал украинских диверсантов, хотя ему просто нравилось истязать.

- Слава, больше жести! Больше жести про укров!

- Хорошо, - брал я под козырёк.

И поднималась новая волна эпоса о бесчинствах хохлов. Я ненавидел их, потому что видел тот ад, который тащили за собой укры. Но вместе с тем я понимал их. Черти пришли калечить и убивать, врываться в чужие хаты и вырывать врага с корнем. Пусть зальются слезами беременные – им вспорят животы, достанут младенцев и треснут о стену, чтобы детские черепа лопнули, как арбузы. Так было в Сонгми. В Нанкине. Во Львове. В Катыни. В Хацуни. Так было, будет и есть. Потому что война не просто многое разрешает – она полностью раскрепощает. Человек так долго ждал вседозволенности (хотя мне больше нравится слово «свобода») – и вот она, наконец-то, его; никаких запретов – жри, жги, убивай.

В конечном итоге победитель получает власть. Даже, если он ехал на бойню за другим. Власть – как аромат младенца, ты можешь любить его, а можешь убить, принеся в жертву. Власть – как ягоды губ: срезаешь, жуёшь, утираешь кровь. Или как дикий мёд в ожидании нового мира.

Но у власти есть и обратная сторона – там нет дороги назад. Вход – на рубль, выход – на два, как говорил один губернатор. Власть забирает талант, волю, удачу, благодаря которым ты к ней приблизился. И если бы я был старомоден, то сказал бы: забирает душу. Впрочем, талант и душа – почти одно и то же. И необходимо платить, чтобы оставаться у власти. Но когда-то платить станет нечем – талант иссякнет. И нужно будет находить новые ресурсы. Чаще всего среди тех, кто тебя окружает. Некоторые сразу отправляют в жертву детей, но большинство сентиментально, а потому засылает на погребальный костёр случайных людей, посторонних. И чем выше забрался ты, тем быстрее можешь собрать обречённое стадо. Нечто вроде древней магии. Неважно, как вы это называете. Важно, как это работает. Когда отправляешь на ферму боли в качестве уплаты сотни и тысячи случайных людей – лишь бы не затребовали должок с тебя. Палачи и жертвы, элои и морлоки – всё очень просто, настолько просто, что даже обидно; можно было не читать столько книг.

После всеобщего инструктажа на одной из кабинетных встреч, я, неожиданно впав в сентиментальность, спросил у пронырливого писателя:

- Ты же был там.

- Ну и? – он достал сигарету из пачки с красной звездой; китайские.

- Так почему ни разу не рассказал о том, что происходит на самом деле?

Он посмотрел на меня, как на тронувшегося. Умный человек, всё понимал.

- А чем я, по-твоему, занимаюсь, Слава?

Я обнулился:

- Нет оснований - не верить большому русскому писателю.

Этот лощёный гондон и, правда, считал себя таковым. Большим русским писателем. Ни бухой, ни под веществами я никогда не проговаривался ему, что тоже написал книгу – никогда. Он ведь был намного талантливее. Но вот в чём фокус – был. Теперь это в прошлом. В настоящем он отдал свой талант ради сундука власти. Да, он оброс связями, и теперь у него имеется свита, точно у рок-звезды, он вообще похож на рок-звезду, но таланта у него больше нет. И не предвидится. Он отдан в качестве уплаты.

Жалел ли об этом сам писатель? Сомневаюсь. И правильно. Задницу продают всего раз – так, что продай её как можно дороже. А в администрации всегда понимали толк в задницах.

- Так что там на счёт передачи, а? – писатель вернул меня к первоначальной теме.

Мудаки вокруг меня были токсичны. В них отражались огни Мамоны, а тот всегда ненасытен. Каждый день я смотрел на него. И это не проходит бесследно. Как в «Видеодроме», где наблюдают за пытками и сходят с ума. Кроненберг вообще восхитителен.

Но хуже людей – информация. Она просачивается повсюду и отовсюду. Двоичный код, нули и единицы складываются в необратимую безысходность – в то, с чем не способно совладать даже время, этот великий разрушитель. Я не решал, что пускать или не пускать в эфир, но поток новостей с Донбасса просматривал и фильтровал, в том числе, я.

К примеру, дано: беременная женщина, убитая взрывом. Она лежит в луже крови. Зелёная юбка задралась. Блузка изрешечена. Лицо изуродовано. Фотограф был не из нюнь, поэтому сделал несколько крупных снимков. Страшнее всего смотрятся обнажённые зубы, губа порвана и не скрывает их. Часть лица обожжена и слезла, как подгоревшая корка. Нога оторвана ниже колена. На переднем плане - культя, с которой свисают оборванные жилы. Такой вот снимок. Женщина погибла из-за обстрелов укров. Беременная женщина, так что погибло двое. Стоит множить такое? Насколько это правильно? Не с точки зрения морали, нет. С точки зрения ведения информационной войны. Даст ли фотография нужную порцию ненависти? Или, наоборот, демотивирует?

Чтобы решить, как поступить с фотографией, я должен смотреть на неё долго, если, конечно, не решил сразу. Смотреть и смотреть. Настолько долго, что ночью труп мог бы присниться мне. Впрочем, этого никогда не происходило. Я был стоек. Но ведь профессиональная деформация всё равно сказывалась, да? Я хотел верить в это.

Спасаясь, я уехал кататься на горных лыжах. Одинокий человек в чужой стране. Человек, который может позволить себе много. Я жил на верхнем этаже колоритной гостиницы, построенной в конце девятнадцатого века. Из окна номера, где повсюду стояли живые цветы в причудливых вазах, виднелись заснеженные горы, похожие на пасхальные куличи; их, как драже, облепили лыжники и сноубордисты. Я стоял на балконе, пил глинтвейн, приготовленный из красного Château Margaux, и ел Грюйер. Оззи пел о железном человеке. Я не чувствовал себя таковым. А если и чувствовал, то во мне поселилась ржавчина. Даже здесь, в уединённой альпийской деревне, где я не встретил ни одного русского, коррозия съедала меня.

И испытанное на балконе спокойствие, пусть и неустойчивое, грозившее вот-вот сорваться, кончилось сразу же, как только я вышел из номера. В холле гостиницы, отделанном натуральным буком, мне встретился лыжник в костюме цвета речной тины. Я увидел в этом не просто дурной знак, а мрачное знамение. Не стоило даже идти кататься на лыжах. Я поднялся обратно в номер, собрал вещи и, подавленный, улетел в Москву.

В Рождество мне пришлось звонить родителям. Мать старалась быть добродушной, хотя в последнее время и побаивалась меня. Она рассказала о том, как отец справляется после операции. В ноябре он перенёс инсульт. Тогда это мало меня волновало. Отец был человек вздорный, горячечный, шумный; у таких обязательно отрываются тромбы. Но тут я слушал мать, не перебивая. Пусть мне и было глубоко наплевать. Она говорила скучно и косноязычно. Но я старался не злиться и не зевать. Хотелось верить, что в элементарных семейных вещах можно найти отвлечение и утешение. Ненадолго, на пару минут, но всё же.

Остальные дни я пытался сообразить, где во мне произошёл сбой, где порвалась ткань, и какие фантастические твари пролезли в зиявшую дыру. Пытался, но не получалось. Что-то важное всякий раз ускользало от меня, пряталось, маскировалось, выжидало, а спустя время снова бросалось в атаку. Оно кусалось больно, но, по большей части, выедало изнутри, гадко причмокивая.

Надеюсь, своё состояние замечал только я. Потому что мои начальнички не читали книг. Ни Сартра, ни Кьеркегора, ни Достоевского. Они не мучились экзистенциальными вопросами. Хандра, сплин, депрессия – для неудачников и лохов. Начальнички жили в мире, где никто никогда ни при каких обстоятельствах не терпел слабость. Не проявлял её. Стоило показать слабость – и тебя, как полено, швыряли в топку поезда, мчавшего к пропасти. Ты топливо для него, ты всегда только лишь топливо. Поэтому жри и пируй, пока ты сидишь за столом.

Один хер в рясе – честный, таких нынче мало, - помню, читал мне проповедь. Из тех, что с евангельскими цитатами, но он говорил и от себя. Талантливо излагал. Ему бы на телеканал «Спас» вместо ряженых, обитавших там. Я познакомился с ним в монастыре. Кто-то подвёл к нему, сказал нечто в духе «надёжный мужик». А я был не трезв. И, наверное, успел принять вещества. Такова мода сегодня – ходить не к психоаналитикам, а к духовникам. Эффект лучше – только дороже. И вот, нас познакомили.

У него было очень худое, очень измождённое, очень бледное лицо, будто он вот-вот отойдёт и не вернётся. Хер в рясе смотрел на меня добрыми глазами – нет таких добрых глаз на свете, даже у матери, а у него были – смотрел, утешая, и под этим взглядом хотелось говорить. И я говорил. Долго, с час, наверное. Меня прорвало. Прости, Отче, грешен. Вроде той главы, вырезанной из «Бесов» – «У Тихона». Да и девочек, пусть они и не девочки, в моём рассказе хватало. И когда я говорил, то чувствовал себя полным дерьмом. Словно блюю. Стою и блюю перед распятием. А всё равно – очищаюсь. Мерзко, но потерпеть нужно. Я так всегда делал на приёмах, чтобы не держать выпивку и жратву в себе. Два пальца в рот – и всё пройдёт. Так говорили в юности, когда смех был громче и к девкам влекло по-настоящему. И вот с ним, с этим добрым в рясе, я очищался тоже. А он слушал. Это вообще очень тяжёлая работа (или миссия, да?) – слушать воров, насильников и убийц. Слушать грешников, так же их называют. Особенно не раскаявшихся, а красовавшихся или пришедших ради формальности. Меня ведь тоже подвели без особого рвения. Так, подтащили. Авось, поможет.

Я говорил искренне, да, но всё равно не мог избавиться от мыслишки. Дрянной, малодушной мыслишки. А был ли я самым-самым? Самым омерзительным из грешников? Даже в исповеди пытался казаться массивнее других. Крупная рыба, которую ещё не выбросило на лёд. Я отчасти красовался перед хером в рясе. Но ведь он был не дурак. Вполне возможно, он был даже умнее меня. (Я сказал «вполне возможно», но, на самом деле, он был. Таких бы людей – да к нам. Они бы распетляли любую проблему). Он всё понимал, я это чувствовал, но всё равно смотрел с добротой. Она не просто обезоруживала, а раздевала и пеленала во что-то новое, чистое, тёплое, светлое, как грудничка. И я вышел от него переодетым. Мне впервые хотелось жить. Не в смысле жить по-другому – стать одним из этих новообращённых адептов, что потрясают Библией, но путают Серафима Саровского и Николая Сербского. Был у нас один такой губернатор – тронувшийся на религии. И бизнесменов таких хватало. Но я не о них и не из них. Мне просто хотелось жить.

Чувство, которое невозможно описать. Или мне просто не хватает таланта. Хотя в итоге, почти у любого, мораль сводится к серой банальщине: на тот свет ничего не утащишь. Но мы-то бежим, всё время бежим, с иной философией. Так мы привыкли. И нет разницы между начальничками и вами. Разницы для смерти, я имею ввиду. А вот в том, что называют качеством жизни, разница есть. И весьма существенная. Но чтобы разницу не замечали, придумали сдерживающее дерьмо. В том числе, и херов в рясах. Так я думал. Хотел думать. И, наверное, смог бы, если бы в детстве и школе не читал столько книг.

(Почему их не сожгли, а? Почему не успели? В сущности, одна из проекций великой войны – это битва между книжниками и сжигателями книг. Между библиофилами и библиофобами. Не уверен, что кто-то подробно рассматривал ту войну в данном контексте. Может, и не рассматривал в принципе, хотя я не так самонадеян, чтобы верить, будто открыл нечто новое).

Впрочем, проблемы накопились не только у меня. Просто остальные не спешили в них признаваться. Однако сами давно и безвозвратно запутались. Пусть и продолжали механически жрать, насыщаться. Так произошло и с Донбассом. Начальнички не соображали больше в том, что там происходит. И отдали людей на съедение. Поход обречённых, не иначе. Тех, для кого мирная жизнь не сильно лучше войны. Возможно, в начале, допускаю, этого никто не хотел. Но так вышло. И кому теперь разгребать чёрное, с кровью дерьмо? Пациент давно страдал сильным внутренним кровотечением.

Все делают умные, важные лица. Типа не переживайте, у нас всё под контролем. Но не под контролем. Давно уже не под контролем. Просто все боятся показать слабину. Ведь сожрут моментально. Пусть будет невкусно, но сожрут. Так что лучше делать благообразный вид. А после вовремя соскочить с иглы войны. Навоевался – и хватит. Домой. Или в Париж – скалить фарфоровые челюсти, в которые, как бриллианты, вставлены ракеты новейшего поколения. А, отдохнув, можно и в политику. И донбасский шлейф будет тянуться за тобой, пока вещаешь о справедливости и свободе, изображаешь из себя важную фигуру, хотя реально ты только шарик, наполненный кремлёвским гелием. Собственно, проблема людей-шариков в том, что они верят, будто живут, действуют, мыслят, ага. Я и сам верил в это когда-то. Считал, будто принимаю решения автономно. Наивное существо. Но вовремя спохватился. Иначе самонадеянность завела бы меня прямиком в смертельные топи.

Да, я старался не показывать слабость. И жил, как всегда. Понятно, что когда я говорю «жил», то на самом деле не жил. Это нечто другое. Приходил, к примеру, на очередное собрание. И отстранённо фиксировал происходившее. Лица собравшихся походили на маски из папье-маше. Ими грубо замаскировали то, что находилось внутри. И при этом не слишком старались. Нечто пошлое, топорное, грозившее вот-вот развалиться. В одних местах примятое, а в других, наоборот, шишковатое. Вульгарно сделано. Но это - только вблизи. На экране – всё иначе. Совсем иначе. Собственно, это человеческое папье-маше, по сути, и делалось именно для экрана. Чтобы создать картинку. Низкие люди в жёлтых плащах. Только реальнее. Намного реальнее. Всерьёз.

Подтянутый человек, похожий на учителя арифметики, говорит:

- Безопасность…

Низенький плотный бугор повторяет:

- Безопасность…

Комкообразный старик с прилизанными волосами добавляет:

- Ближний Восток…

Властная тётка с лицом алкоголички бросает:

- Украина…

Сутулый, очень резкий и очень злой дед обрывает:

- Донбасс…

Они, ясное дело, говорят больше, намного больше. Целые конструкции, идущие в головы, как железнодорожные составы, но усваивается всё штрих-пунктирно, и этого, на самом деле, достаточно. Я и сам такой же. Почти такой же. Только мельче и примитивнее. Просто раньше мне удавалось притворяться. Никто не замечал. А если и замечал, то не устранял. Теперь же моё папье-маше треснуло. Из него показалась реальная морда. И она, пунцовая, отчаявшаяся, хочет заорать:

- Суки вы! Клоуны с пушками! Ненавижу вас! И все здесь вас ненавидят!

Откуда это во мне? Откуда?! Неутихающее, изматывающее беспокойство, времена переходящее в ярость. Оно сводит с ума. Иногда хочется схватить автомат и расстрелять их всех. Так, чтобы кровищи, как у какого-нибудь норвежца. Или у мразей из «Колумбайна». Только они неудачники, чьи имена и произносить западло (а они именно того и хотели). Но ведь и я увяз в летальной банальности. Унылые желания, шаблонные образы, но человек вообще не слишком изобретателен. Даже в отчаянии. Особенно в матрице, которая услужливо, как прыщавый чувак из KFC, предлагает различные варианты. И думать не надо. Тотальный видеодром и, наверное, кому-то в нём хорошо.

На одном из собраний, когда человек-гриб в красном галстуке и с желтоватым лицом начал рассказывать о том, почему нельзя объединять ДНР и ЛНР, я встал и вышел из комнаты. Так делали и другие, но редко, очень редко. Оттого в меня бросили (не на меня, а именно в меня, как гранаты РГД-33) мрачные взгляды. Я и сам понимал, что совершаю демонстративную глупость, что она наверняка чревата, потому что на совещание спустились мудрые небожители, но находиться среди них было ещё опаснее. Я бы заорал, не сдержавшись. Ускорив шаг, чуть ли не бегом, я добрался до туалета, включил воду и, уставившись в молочный кориан раковины, минут пять слушал, как течёт вода. Слушал и успокаивался. Старый дедовский метод. Он почти помог. Я смог вернуться на сборище спрутсов, тоскующих по Богемской роще.

Срывы случались и тогда, когда я работал с отчётами. Сотни источников и сотни же колумнистов, журналистов, ведущих. Всё это нужно было анализировать: задавать векторы, вносить коррективы, премировать лучших, наказывать провинившихся. Кто-то зарвался. Кто-то переусердствовал. Кто-то, наоборот, ленился и не дорабатывал. И с каждым нужно было разбираться. Словно я был классным руководителем, а они учениками. Садись, Спиридон, пять. А тебе, Константин, кол. А ты, Василь, останься после уроков. А тебя б вообще хорошо оттаскать за ухо. Конечно, все они были людьми значительными. Народ ценил их куда больше, чем меня. Но вся их значительность строилась на узнаваемости, а за последнюю отвечал я. И не подумайте, будто я им что-то приказывал, устраивая построение вроде школьной линейки. Нет, конечно. Искусство заключалось в том, чтобы команды выполнялись без их отдачи. Качественный римминг не бывает по принуждению. Но и не безвозмездно, потому что бесплатно задницы лижут только умалишённые. Их вокруг предостаточно, да, но какой с этих шизиков толк?

До Нового года я вполне неплохо управлялся с работой. Хотя чего скромничать? Отлично, как по мне, управлялся. Но теперь мне хотелось рвать и сжигать документы. Я даже представил себе однажды, вполне всерьёз, как куплю печку-буржуйку, - не китайскую, а старенькую, совдеповскую, из настоящей стали - поставлю где-нибудь в гараже и стану палить в ней доклады, проекты, отчёты, с наслаждением глядя, как сворачивается бумага.

Но больше всего меня раздражали люди, живые люди. Все эти насекомые, желавшие только одного – денег. Дай денег, денег дай! Дай, дай, дай! Денег, денег! Помню, я сидел в модном кабаке, где по вечерам устраивали кабуки, ел поджаренные гребешки с мозуку, а ко мне навстречу явился когда-то удачливый политолог, ныне похожий на изголодавшегося хорька. У него (я навёл справки) неделю назад умерла мать, а жена с ребёнком ушла месяцем ранее, так что тварь давненько бухала и согнала с себя привычный лоск, хотя пиджак Prada несколько выравнивал крен. Хорёк просил финансирования, а я был перегружен саке и веществами, потому ляпнул в ответ:

- Хочешь бабла? Ну, давай отсоси.

И падший умник взглянул на меня подобострастно, уже на полусогнутых – он был готов, да. Брать за щёку, смокчить (есть такое украинское слово). Только очёчки Lotos снять. Или поправить. Было бы интересно, наверное, смотреть, как он смокчет, елозя неподстриженной рыжей бородкой, но я всё-таки посоветовал ему заглянуть в другие кремлёвские кабинеты. Хотя там любят тех, кто помоложе. Пусть хорёк сам разбирается со своим дерьмом. Смокчет, например, у других. Или распродаёт коллекционные пиджаки. Слабым нельзя давать возможность.

Но тогда я злился на ублюдка, потому что злоупотребил веществами. Теперь же без причины обращался со многими, как с паскудами. Не в силах скрыть своего презрения. Во мне поселилась брезгливость. Встречи, переговоры стали походить на посещение свалок. Я всякий раз морщился от смрада тех, с кем мне предстояло работать. Они, несомненно, чувствовали это. Пусть некоторые и не подавали вида. Лучше бы они не подавали руки. Но встречались и те, кто не распрощался с чувством собственного достоинства, столь досадным атавизмом в нашу выставочную эпоху.

Да, конечно, заказывает музыку тот, кто платит. И я мог сделать щедрые инвестиции. Но художника надо очаровать, чтобы он творил в полную силу, творил от души. Как Лени Рифеншталь. Или Кнут Гамсун (вот уж был гений!). Ведь нет ничего сильнее искренности. Иначе выйдет подделка, как у всей нашей культурной обслуги, которая хулит государство, но сидит у него на подсосе, готовая пойти на любое извращение, лишь бы вовремя получить бабло.

Смазливого журналиста, всё время поправлявшего браслет с черепами, я унизил до слезливой влаги в глазах. Глумился над ним так, что он не стал пожимать мне руки в конце встречи. Но если садисты испытывают удовольствие от унижений других, то во мне, наоборот, лишь усиливалось отвращение. Я всё больше презирал червей, готовых лезть в донбасские трупы – только плати. Они, эти трупоеды, пришли из той преисподней, где не страшно, а жалко. Но ведь я сам якшался с ними. Некоторых по-своему воспитал даже. Так кем я был теперь?

Нет, меня не мучила совесть. С чего бы? Да и лишнее это. Просто политическое сутенёрство обнуляло масштаб. Я становился мелок – вот в чём дело.

И потому всё больше уходил в вещества. Бил девок уже не для острастки, а всерьёз. Рано или поздно задушил бы какую-нибудь шлюху, а после разделал бы её на куски. Но, сбегая ото всех, прячась в шерстяной темноте, я понимал, что ни вещества, ни секс, ни работа не вытащат меня из погребальной ямы, отделанной белым золотом, пахнущей Clive Christian, но оттого не менее беспощадной, переваривающей педантично и без сожаления. Чёртов Иона в сатанинском ките – с той разницей, что Бог и не думал испытывать меня; я вообще мало интересовал Его.

Тогда я и наткнулся на брата. В книжном магазине. Где, если не там? И кто, если не мы? С последней нашей встречи Антон изменился. Он уже не выглядел, как обречённый бухарь, надеющийся повторить успех Чарльза Буковски. Антон стал актуальнее. Его щетина выглядела модно, а толстовка с декором из крупных звёзд стоила нормальных денег. Так что в «Жигулях», куда мы заглянули, девки смотрели и на меня, и на него. И это преображение - апгрейд – произошло благодаря мне. Брат приоделся на бабло, заработанное на статьях о Донбассе.

В «Жигулях» мы взяли кадушку с раками и трёхлитровую банку пива.

- Пишешь рассказ? – спросил я, наполнив бокалы.

- Повесть, выходит повесть, - Антон оторвал клешню рака, высосал её. Синие мешки под его глазами не исчезли, но во взгляде уже не было прежней растерянности. – Выходит неплохо.

- А идея?

- Соблюдена, - он принялся за второго рака. Быстро ж он ел.

- Поделишься, что и как?

- Ты же знаешь: черновик не показывают. – Антон утёр с губ пивную пену. – Плохо, что ты темы не все берёшь.

- Для статей?

- Ага.

Я наконец оторвал клешню:

- Ну, у нас же не конвейер, не консервный ряд, правда? Ты и сам понимать должен.

- Да, но ведь рубишь мне неплохие темы…

Антон стал объяснять, а я молча наблюдал, как он говорит и поглощает раков. Зубы он ещё не сделал. Они по-прежнему напоминали о Лихолесье – почерневшие гнилые пеньки. Но они не мешали ему уминать раков. Он лакомился ими, наворачивал их – так наши родители говорили в детстве. Ему - тому, кто ещё три месяца назад размахивал знаменем миротворца, рассказывая, что войну важно остановить – очень понравилось тратить деньги. Потому теперь он вбивал в луковые головы не плачи о примирении, а боевые марши. И стоило это не так дорого.

- То, что повесть достойна, - я вернул его к теме, - это прекрасно. Но важно написать её так, чтобы они там все, - я ткнул в потолок зелёным кончиком зубочистки, - охуели!

- Охуеют, не сомневайся.

Он поставил бокал на стол. И вдруг пристально, как фэсер, мечтающий стать чекистом, уставился на меня.

- Ты сам как?

Я даже сразу не сообразил, о чём он:

- В смысле?

- Ну, как ты сам? – Антон полез в душу. – Что-то с тобой не ладно.

- С чего ты решил? – я как бы небрежно ухмыльнулся.

- Чувствую. – Он помолчал. Я решил, что брат ищет официанта, но нет – он размышлял. – Ты, скорее всего, не поверишь, но моё отношение к тебе особенное. Особенно светлое, так правильнее, что ли. Я ведь помню… - он вновь сделал паузу. Ну, прям актёр из МХАТа. – Помню, как мы читали книги, спорили о них. Кому – Фенимор Купер, а кому – Жюль Верн. Помню, как, забравшись в отцовскую «копейку», уходили от погони, отстреливаясь из палок от воображаемых ментов. Славные парни! Помню, как играли в «квадрат» во дворе. А, - он рассмеялся, - помнишь то двойное свидание?

- С хиппушкой? – Я и сам не сдержал улыбки. – Такое сложно забыть. Она ведь постоянно ржала невпопад и всё время повторяла «поставьте мне Леннона», - я постарался скопировать её писклявый голос. - Подружка, кстати, её была ничего.

- Ну, только сиськи…

Брат словно достал семейный фотоальбом и теперь листал его страницы. Ностальгировал? Вряд ли. Скорее втирал ностальгию в меня, как бальзам, чтобы я размяк, расслабился и дал больше денег. Самонадеянный малый.

- Я в норме. Не переживай.

- Ты уверен?

- А когда было иначе?

Антон пожал плечами. Разговор увял. Нам стоило распрощаться.

- Тогда с тебя рассказ. Или что там у тебя…

Бесполезная встреча с бесполезным братом. Так мне казалось. Но когда я вернулся домой, то ощутил сентиментальную ностальгию. Да, пусть прошлое не вернуть, но всё-таки оно было, похожее на свежеиспечённый хлеб. Даже эта девка с хипповскими прибамбасами до сих пор вызывала улыбку. И, возможно, мне стоило, если не вернуться в утерянное состояние, то, определённо, искать с ним связи. Я взглянул на часы – десять вечера. И всё равно позвонил матери. Голос её дрожал. Она всегда думала, что поздние звонки – с дурными вестями.

- Квартира пустая? Там никто не живёт? – я старался говорить коротко.

- Какая квартира? – мама не поняла меня. Она то ли спала, то ли готовилась отойти ко сну.

- Наша квартира, - нетерпеливо пояснил я. – На Медведково.

- А! Та! Конечно, пустая. А что?

- Ну, вы не пускали туда квартирантов?

Мама охнула, как провинциальная барышня:

- Славик, да как же мы без твоего ведома?

- Ладно.

- Так а что случилось?

- Ничего, просто спросил. Ладно, пока. И не называй меня Славиком, сколько раз говорить.

Оставалось лишь найти ключ от квартиры. Той, где я вырос. Той, которая, в какие кабинеты я бы не переезжал, неизменно меня окружала. Вот только куда исчез этот чёртов ключ?

Я перерыл квартиру с рвением наркомана, искавшего дозу. Ноэл Галлахер отыскал раритетные записи Oasis на полке с носками – возможно, я мог бы обнаружить нечто похожее. Пронзительный стих, набросанный на пожелтевшем листке. Или меткую фразу, запечатлённую на сигаретной пачке. Но, обыскивая шкафы, я только лишь раздражался. Меня изумило, сколько клочковатых свидетельств осталось от моего прошлого, и они ничего, совсем ничего для меня не значили. Однако я жил в этом, как в душном чулане, заставленном ветхой дрянью – Плюшкин поневоле. И, наткнувшись на очередные трусики очередной шлюхи, я взял наконец чёрный пакет и стал выкидывать в него все бесполезные метки прошлого. В подобном и, правда, как уверяют психологи, было нечто психотерапевтическое.

Наконец на одной из полок, за пачкой евро, весьма скромной, отыскались ключи от квартиры. Я повертел их в руках. Погладил металлические зубчики. Несколько раз, будто потрахивая, просунул палец в кольцо-держатель. Решил ехать утром, но, не выдержав, сорвался тут же. Внутри меня пульсировало и зудело. Я смотрел на московские огни за стеклом и уверял себя, что поступаю правильно.

Двор почти не изменился. Появились лишь спортивная и детская площадки. Такие – кислотно-яркие - распихивали по всей столице. Атмосфера двора осталась прежней. Всё выглядело так же мило и заброшено, как и раньше. Это мне даже понравилось. Возможно, потому что я был под ностальгией, мягкой и властной, как руки массажиста, превращавшие мышцы в тесто. Вот и я мутировал в нечто бесконфликтно-податливое. Даже подошёл к старому тополю из детства. В школе мы развлекались тем, что ножиками – или осколками – вырезали на белёсо-зелёной коре надписи. Чаще всего, имена. Подсвечивая айфоном, я поискал свои инициалы, но не нашёл. Возможно, было слишком темно. Зато я увидел грубо вырезанную рыбу, перечёркнутую крестом.

В подъезде аутентично смердело мочой, но даже это меня расположило. Запах из детства. Я стремительно превращался в ностальгировавшего хлюпика, слабого и безвольного. Перебор, конечно. Даже для мелодраматического сериала. Однако когда я, повернув ключ в замке, толкнув вспухшую от влаги и времени дверь, вошёл в квартиру, то натурально едва не расплакался. В коридоре – длинном и тёмном, освещённом единственной лампочкой – стояла та же, из детства, облезлая вешалка. На неё набросили нечто вроде плаща – драного, пахнувшего застарелым потом даже на расстоянии. Линолеум вспучился и в нескольких местах был продран.

Я продвинулся дальше, подсвечивая себе айфоном. Но мешала, на самом деле, не темнота, а массивная вонь, закупорившая квартиру. Она жила здесь, точно затаившееся чудовище, отвоёвывавшее пространство, заполняя, оскверняя, отравляя его. И монстру не нравилось, что кто-то явился в его владения. Влез в его плоть, нарушил целостность, чтобы попытаться забрать квартиру обратно. Чем дальше я продвигался, тем больше чувствовал, как вязну и замедляюсь. Чудовище надёжно обосновалось в темноте и одиночестве. И если я хотел пробраться вглубь, то обязан был зажечь в этом мертвенном чреве свет. Однако то ли лампочки выкрутили, то ли они не работали, но выключатели щёлкали вхолостую.

Пришлось выйти обратно во двор. Лампочки продавались в местном супермаркете. Я давно не заходил в подобные мусоросборники. И когда красноносый мужик задел меня, а от бабки в шерстяной кофте пахнуло, словно из вскрытого гроба, я ощутил себя кем-то вроде пронырливого исследователя, заглянувшего к бомжам на теплотрассу. Фунты лиха в «Магните» – как тебе такое, Джордж Оруэлл?

Однако удручившее путешествие состоялось не зря. Едва шагнув в квартиру, я почувствовал, как скукожился монстр. Из матёрого хулигана превратился в нерадивого шалопая, расплакавшегося при первом же вызове к директору – закомплексованный, травмированный мальчуган.

Я зажёг лампочки во всех комнатах. Правда, меня всё равно трясло, но уже не из-за тьмы, а, наоборот, из-за высветленных воспоминаний. Я словно погрузился на дно реки, зарылся в ил и не выбрался. Чувствовал себя предельно больным, растерянным, уязвимым, но вместе с тем обретшим надежду. Ничего из того, что мне давало уверенность раньше, отныне не существовало. Я стоял обнажённый в чувствах, перепуганный, не знавший, для чего оказался здесь, но ещё больше не понимавший, ради чего возвращаются в привычный мир, ослепляющий малиновым светом.

Многое в квартире осталось прежним. Таким, каким было при мне. Книжные полки с полными собраниями сочинений классиков. Электрическая плита «Лысьва» с конфорками, похожими на блины для штангистов-карликов. И даже продавленное кресло, застеленное красноватой тканью, в котором мы с братом читали книги, осталось на своём месте.

Я упал в него – капитулируя. Чувствовал себя кем-то вроде героя Макса фон Сюдова, которому вот-вот предстоит сыграть со смертью в шахматы. Рыцарь, исповедовавший принцип меньшего зла. Не ради себя, а ради высшей цели. Вот только её – и в том таилась моя трагедия - ещё предстояло найти. Сидя в продавленном кресле, я наконец признал это. Всё, что я делал – это разыскивал смысл, путаясь в цитатах, которые сам же и вываливал из коробов. И они, эти опавшие листья (опять цитаты), разлетелись по обезображенным улицам. Даже если бы я хотел собрать их, чтобы спалить – как в школе, на весеннем субботнике, - то не смог бы. Никто бы не смог. Они получили свою жизнь, своё право на существование. И дали перегной для других.

В злобе я пнул дверцу стоявшего рядом шкафа. От удара она открылась, обнажив полки. И там, среди старых чехлов и пыльных коробок, я увидел голубую тетрадку. Смятённый, вспомнивший сразу, я чуть привстал. Как она могла сохраниться? Как? Конечно, я знал, что в ней. Но я не знал, стыдиться мне или гордиться, корить себя или радоваться. Тетрадка, о которой я позабыл. Тетрадка со стихами. С моими стихами. Знаю, это глупо, наивно. И что? Кто не писал стихи? Вот и я не исключение. Так что идите на хер с вашими ухмылками.

Я взял голубую тетрадку. Руки чуть задрожали. Не верилось, что прошлое – тем более такое – способно производить подобный эффект. Листы пожелтели, чернила выцвели. Я пробежал неровные строчки слезящимися глазами. Поэзия моя была пошла и бездарна – почти карикатурна в своей беспомощности.

Вспомнились вдруг полунищие поэты, которых мы собрали в ЦДЛ, чтобы они откликнулись на войну в Донбассе. Выглядели они так, словно их привезли то ли из хосписа, то из дурки. От них смердело водкой, колбасой и несчастьями. Те кружили вокруг меня и хотели ухватить за кашемировый джемпер Loro Piana. Но я уворачивался от прилипчивых бед, сальных рук и омерзения.

Однако, наткнувшись на голубую тетрадку, я вдруг позавидовал тем убогим поэтам. Они не имели свободы, как то заявляли – нет, конечно, но избавление для них крылось в другом – им больше некуда было падать. Стакан, асфальт, обоссанные штаны, морда в кровь – может, кто доведёт домой? Но и чёрт с ним! Ведь если смог написать несколько гениальных строк, не стихотворений даже, то успел прописать себя в вечности. А если нет, то о чем жалеть, миссия изначально была невыполнима?

На полке валялась шариковая ручка с красной пастой. Я схватил её. Встряхнул – и написал в голубой тетрадке пару свалившихся строк. Добавка к ним далась мне труднее. Пришло думать, искать рифму, соблюдать размер. Выходило паршиво. Потом я сообразил, что это в принципе бесполезный труд, и просто начал совокуплять слова друг с другом. Столь безответственное бумагомарательство успокаивало. Действовало как психотерапевтический метод. Я расстегнул пуговицу на джинсах, так сидеть было легче. И стартовал.

Писал я исступлённо. До самого рассвета. После швырнул тетрадку в угол с мыслью, что никогда не стану перечитывать написанное. Пусть остаётся в забвении. Сам себе я был неинтересен. Главное уже случилось: я почувствовал себя обновлённым. Поэзия сработала лучше, чем секс или трип с веществами. Тетрадка лежала в углу; я сидел в кресле. Там же я и уснул. Быстро, легко и сладко. Без побочных эффектов. Без риска привыкнуть. Без расточительных денежных трат. Голубая тетрадка сработала идеально. Храни её Блок.

**4**

Нужно было устроить праздник в Донецке. Дата выбиралась конкретная, но повод оказался универсальным – отвлечь население. И тут что день города, что рождение Ильича – один хер. Главное – отвлечь, потому что люди рвались в рай, а угодили в чистилище. Они ведь думали, многие из них, что, проголосовав, немедля присосутся к нефтегазовому баблу. Что им отвесят золотовалютных дотаций, как севастопольцам и крымчанам. Но нет. Никаких дотаций, доедайте хер без соли – ладно, хорошо, с солью, с артёмовской, ха. А теперь уже и не разберёшь, кто что разворотил. Но люди так быстро, так больно стали нищими и обездоленными. И в том не было их вины. Смелые люди. И наивные. Но что нам теперь? Жалеть их? Возможно. Однако тупых не жалеют. У нас. А у вас – я не знаю.

В общем, нужно было устроить в Донецке праздник. Без особых изысков. Потому что избыточность могла разгневать народец, и он спросил бы: а не лучше ли потратиться на пенсии и ремонт школ? О нет, заткнитесь! Мы не о хлебе сейчас – мы о зрелищах. Я занялся ими лично. Как завещал фабрикант Зорг. К тому же после поэтической ночи я почти восстановил форму. Да, когда-нибудь тоска, эта чёрная голодная сука, изведёт, прикончит меня, - может быть, даже в муках, - но пока я осваивал стоицизм и собирался выкачать из жизни то, что мне причиталось.

Для начала я обзвонил знакомых. Разных профессий, но на деле профессии одной – древнейшей. Борзый писатель шёл в списке первым. Он, похоже, рассчитывал стать президентом. Ну или министром хотя бы. Писатели вообще самонадеянны. Особенно, если пиара в них больше, чем таланта. И заняты они в десятке проектов. Ведь писатели в современной России в чистом виде никому не нужны. Но на них, для веса, для понта, можно наслаивать иные роли. Вроде телеведущего – или просто частого мелькания в ящике. И, конечно, политика. Но писатели всё равно, опять же самонадеянно, полагают, будто создают какие-то там миры, а не отсасывают в предбаннике. Забавные. Борзый, впрочем, продавал чугунную задницу грамотно. Сначала растряс нападками, а после взял за сотрудничество почти столько, сколько хотел. Сверху – или всё-таки снизу? - ему отвесили не таланта, а хитрости и удачи в достатке. Он сжирал остальных, крепкий малый – и умел делать это эффектно и эффективно. Тщеславный неимоверно, он запаливал костры амбиций как путеводные знаки – и люди, точно овцы (первое и отличное, кстати, название для Nevermind), верили и очаровывались. Люди вообще идут за наглыми, бесстыжими, сильными, беспринципными. Удивительно, как Иисус, этот неудачник из Назарета, смог убедить их. Хотя, возможно, он работал на серьёзном контрасте.

Ещё был актёр. И он же режиссёр. И певец. И кто-то ещё. Многогранная личность. Знаю, на днях он даже читал лекции, изобличавшие православие. Об этом нам с ним ещё стоило поговорить. Не хватало только разборок с РПЦ. Никогда я не видел, настолько жадных людей. Хотя нет, видел, конечно, а это так, присказка. Но актёр и, правда, оказался до омерзения жаден. И алчность в нём была неприкрытой, напористой. Дай! У меня тринадцать детей. Дай! Мне надо спасать Тарусу от онкологии. Он походил на краба, намертво вцепившегося в палец. И, пытаясь сбросить проклятое членистоногое, ты мотал рукой, но получалось, будто ты машешь флагом. С физиономией актёра.

Отыскались и другие селебрити русского мира (эта словесная конструкция принадлежит одному мудаку из Кремля, и она ему очень нравится, так что все вопросы к нему). Мастера разговорного жанра. Но на большой сцене праздничным вечером, когда часть народа убухана (не зря водка в ДНР стоила 50 рублей), они слишком скучны и невзрачны. Их обязательно надо разбавлять музыкальными номерами. Мне нравится это совдеповское словосочетание – «музыкальный номер». Вроде: а сейчас с музыкальным номером «Свиньи войны» выступит вокально-инструментальный ансамбль из Бирмингема «Чёрный шабаш». Да, сука, эта музыка водосточных труб будет вечной.

Вечером на сцену Донецка должны ворваться музыкальные рок-коллективы. Не «Свинцовый дирижабль», конечно, и не «Короли на службе у сатаны», но вполне удобоваримые. Я даже приятельствовал с одним из них. Пару недель назад мы обсуждали Хабенского и Бодрийяра. Рокер этот был канонический – его когда-то любил народ, а он любил торчать жёстко, но всё изменилось.

Остальные должны были хрюкать на разогреве. Свиньи не войны, но мира. Седой певец со шлягерами для климаксных тёток. Растолстевшая певица, пересмотревшая фильмов о войне. Или на почве чего она так чокнулась? Жанна Д’Арк, донбасская дева. Точнее – ведьма. Когда она первый раз приехала в ДНР, то сразу же попросилась на передовую. И там вдыхала смрад окопов и кайфовала, когда видела смерть. Она погружалась, влюблялась в неё, как дорвавшаяся некрофилка. А мне эта толстуха рассказывала о том, как наматывать кишки на выхлопные трубы.

Ещё я пригласил на концерт слащавую секс-певичку. Такую бы драть – и драть хорошо. Она, в общем, тоже была не против. Пусть и косила под лесбиянку. Не знаю, почему я до сих пор не трахнул её. Всякий раз мне что-то мешало. Да, нужно было устранить этот пробел. Заполнить пустоты, заткнуть мясные дыры.

Стандартный концертный набор. Именно что стандартный. Чересчур стандартный. Поэтому я нуждался в новом артисте. Таком, чтобы работал на молодняк. На девок в увеличивающих бюстгальтерах и мальчиков в подкатанных джинсах – всех этих малолетних дебилов, надрачивавших на таких же дебилов, но чуть постарше. Они нуждались в ком-то по-настоящему трушном. Этаком супертяже, который превратил бы эстрадный вечерок в нечто хайповое.

Я думал о таком мудаке с полчаса, наверное. Много, как для меня. Хотя варианты были. Мы работали с некоторыми артистами (они себя так называли - у людей, похоже, вообще отсутствовала самоирония). Но они, хм, не подходили. Я заглянул в ютюб – и посмотрел рэп-баттл. Там был длинный, рахитичный парень, похожий на глиста. А вернее – глист, маскирующийся под парня. Вот такой бы калека нам подошёл. Он разорвал бы шаблон, а это главное. Да, глист смотрелся бы нелепо, неуместно и злил бы наше стандартное шапито, но - тем лучше. Раунд.

Чувак – он же чудак – выглядел так, как выглядел бы любой дрочер, попавший в солидную обстановку: делал вид, что ему плевать на сытую роскошь, но реально обомлел. Наверное бы, дёргался, если б по жизни не был таким квёлым. Руку он – ожидаемо – пожал бегло и вяло. Его ладонь показалась мне холодной и слизкой. И вот это насторожило. Я вспомнил мёрзлых рыб из кошмара. Глист напомнил мне одну из них. Такой же бледно-серый, неподвижный, безвольный.

- Мне бы пивка, - заявил он.

Официант в накрахмаленной рубашке с пушистыми бакенбардами, словно из девятнадцатого века, начал перечислять марки. Обилие выбора запутало бы даже завсегдатая, а глист просто растёкся. Его раздавила помпезная обстановка. Я сделал мудачка ещё до того, как мы с ним встретились. Не знаю, впрочем, насколько это было хорошо - он мог поплыть раньше времени. Да и везти в Донбасс стоило человека с яйцами. С другой стороны, будь на его месте кто-нибудь другой – он бы сперва послал меня на хер.

Нет, убедить можно каждого. И необязательно даже деньгами, большими деньгами. Их вообще слишком переоценивают. Аргументы можно подобрать разные. Однако сколько времени заняли бы подобные переговоры? И ради чего? Тратить силы, мои силы, ради того, чтобы татуированный придурок подрыгался перед теми, кто с большой радостью послушал бы «Офицеры, офицеры»? Ох, кстати! Насчёт «Офицеров». Как я вообще забыл о них?

Но этот глист, глотнувший пива и оттого поуспокоившийся, мог стать проблемой. Я посмотрел на его акне, тонкие губы, длинные пальцы, которыми он нервно постукивал по бокалу. Глаза глист спрятал под тёмными очками, словно персонаж какого-нибудь фильма Джармуша. То ли угашенный, то ли стеснительный.

- Хорошее пиво?

- Пойдёт.

- Здесь ещё, кстати, очень неплохие мясные закуски к нему.

- Нах… хотя, - спохватился глист, - можно.

Он сожрал у меня ещё время. А после принялся за баварские колбаски, поблёскивавшие жиром.

- Ты когда-нибудь был в Донбассе?

- Не, ни разу. Меня вообще мало волнует вся эта херня. Я про политику.

- Тогда почему ты здесь?

Он посмотрел на щекастого парня в чёрном худи, пришедшего вместе с ним.

- Нам говорили о концерте.

- И о гонораре?

- Да, и о гонораре, - запыхтел щекастый. Он очень хотел денег на максималках. Я видел это. Алчный мудак, не умевший скрывать свою алчность.

- Но разве он имеет главное значение? – Я взглянул на них, чуть насупившись – не всерьёз, а забавы ради. – Или имеет?

- Ну…

- Ну – это хороший ответ, - я усмехнулся. – Да вы не переживайте, парни. С гонораром вас не прокинут. – Пауза и выпад. - Но вот ты, друг, у тебя же дед из Стаханова, так? – обратился я к щекастому. – И нравится тебе, что там делают с могилами?

Я показал ему видео. Не из приятных. Щекастый покраснел.

- Не нравится…

- Мы вне политики, - перебил его глист. Он допивал своё пиво за шестьсот рублей и начинал злиться.

- Зря, - ухмыльнулся я, - потому что политика приносит немалые дивиденды…

Тут я начал свою речь. Одну из тех, ради которых прочёл столько книг. Одну из тех, что могли бы вести за собой если не армии, то футбольные команды. Я не скромен? Возможно. Ну и? Дальше что? В конце концов, всё это исключительно ради результата. Чтобы этот глист поехал в Донецк, выполз на сцену, протявкал десяток треков и убрался в свою конуру. И чтобы потом его можно было держать на цепи.

Антихайп, да? Мы покажем, сука, тебе такой антихайп, что ты кровью, мудак, харкать будешь! Ты что тут себе навоображал, а? Думаешь, из дерьма вылез и поднялся? Думаешь, на зоне есть выбор? Есть места для таких, как ты? А заплатить? А рассчитаться? Все имеют цену. Особенно те, кто лезет на сцену. Независимых нет и не будет. Пусть у таких, как ты, миллионы просмотров, но решают здесь - пока что - такие, как я. Слышишь? Вот и хорошо. Понятливая шавка.

Мы пожали друг другу руки. Договорились, значит. Разве у меня бывает иначе? Оставалось только заказать в Донецк «офицеры, офицеры». Но это решалось на раз. Я позвонил агенту, назвал гонорар.

А после замер на улице. Мне не хотелось уезжать домой сразу. Я сказал водителю, где ждать, и решил пройтись. Пусть и московские улицы отвоёвывала у переменчивой погоды серая хлябь. Наплевать. Мне нравилось чувство силы и ясности внутри меня. Оно выделяло среди остальных людей. Возвышало. Но только среди людей оно и работало. Потому что, оставшись один, я вновь сосредотачивался на себе – и появлялась тревога. Среди же людей мне хотелось останавливать каждого и кричать ему в морду:

- Смотри на меня! Смотри! Видишь, какой?! А ты, мразь, таким никогда не будешь! - Он бы не понимал, мямлил или, наоборот, бил в морду, но я бы всё равно продолжал орать: - А ты гниль! Слышишь? Ты гниль!

И смех шёл бы горлом. И в тот момент мне бы принадлежала улица. Хотя наверняка на ней топали люди и побогаче, и поярче, и посимпатичнее меня, но все они превратились в лилипутов, не понимавших, как работала система, заставлявшая их делать то, что хотели такие, как я. А не они. Потому что они пыль. И она разлетится. Ничего не останется. Ни поступков, ни лиц, ни чувств, ни надежд, ни свершений. Вообще ничего. А исторические следы, похожие на пятна отбеливателя, сохранятся – уродливые отметины того, что прошлое реально, что прошлое – плоть и кости, ходившие по земле, а после в землю закопанные, начинавшие и заканчивавшие войны, убивавшие, насиловавшие, влюблявшиеся, ненавидевшие, преступавшие – вот что есть прошлое, а не только набор букв в учебниках. Но как бы там ни было, я по-прежнему хотел написать туда пару абзацев.

Перед поездкой в Донецк мне приснился чумной сон, а в нём - моя первая любовь. Её звали Настя. Мы познакомились на курсах фотографии, и через два свидания она пригласила меня к себе домой, когда её родители уехали на дачу. Настя позвонила мне на домашний телефон, я связался с приятелем, он выкрал у родителей бутылку молдавского вина – с ней я и прибыл. Впрочем, вино только отдалило главное. Настя сама положила мою руку себе между ног – там уже было мокро. Я увидел влажное пятнышко на синтетических трусиках. Тот влажный момент до сих пор возбуждал меня больше, чем всё случившееся со мной в жизни после Насти. Сколько бы я не экспериментировал с девками.

И вот, спустя десятки лет, утром субботы мне снилась Настя. Я щупал её, ласкал, концентрируясь на мокрых трусиках. Возбудился так, что болели яйца, но я всё равно не просыпался. Мне нравился этот сон. Я сначала максимально погрузился в него, а после за него ухватился.

Но всё-таки пришлось открыть глаза. Рядом лежала красивая смуглая девка. Не Настя. Я откинул простынь. Посмотрел на сделанную грудь. На сделанные ресницы, сделанные волосы, сделанные скулы, сделанный нос, сделанные губы. Мне вдруг захотелось отрезать их. Я даже пошарил рукой вокруг, но не отыскал ничего острого. От шеи к заднице девки ползла вычурная татуировка – дракон, исколотый розами. Девушка с татуировкой дракона – так я её выбирал? У меня встал. Я натянул презерватив. От резкого толчка девка проснулась. Ойкнула.

- Заткнись, сука!

Она ойкнула ещё раз. А потом застонала. То ли изображая удовольствие, то ли реально его срывая. Девка была роскошной. Но ничем не напоминала Настю. Это всё обнуляло. И как она оказалась в моей квартире? Кто её притащил? Я этого не помнил. Трахая, я укусил девку за губу – сделал ей больно, пустил кровь, убеждаясь, что она реальна.

- Что-то не так?

Я не знал, что отвечать. Мне хотелось вырезать на её заднице сердце. Возможно, я смотрел слишком много порнографии. Возможно, мне просто хотелось увидеть Настю. Я не знал, в чём крылась истинная причина моей эректильной и душевной дисфункции. Но из глубин моего отчаяния с ревом поднимался Кракен. Да, я мог бы назвать сотню причин, из-за которых был нет способен трахаться, говорить, любить, жить. Но я лишь сказал:

- Заткнись, сука.

И снял презерватив.

Девка встала. Черноволосая, длинноногая. Мне нравилась – точнее, могла бы нравиться - её смуглость: она подчёркивала рельеф мышц. Девка, перекатывая роскошными ягодицами (Ганнибал Лектор приготовил бы такие с брусничным соусом, да), ушла в кухню. Я повалился на спину, опять подумал о Насте. Уже о повзрослевшей. Какой она стала? Я силился представить, но в голове вертелись только мокрые трусики. Смуглая девка вернулась в комнату с бутылкой шампанского Cristal Rose и двумя бокалами.

- Принеси нож.

- Нож?

- Нож.

Девка, поморщившись, вновь ушла на кухню. И крикнула уже оттуда:

- Где у тебя ножи?

Сначала я хотел лететь в Донецк вместе с артистами. Но в последний момент передумал. Общение с лощёными мордами напрягло бы. В принципе мы, конечно, неплохо бы провели время (беседы, шампанское, канапе), но я всё же решил обособиться, уединиться. Так что артисты полетели одним специальным рейсом. Кроме писателя, да. Тот возвращался из Парижа. Так что стоило ждать от него привычных историй. А я видел ту и вот эту, а ещё этих; как же восхитительно меня принимали! Хотя, возможно, я просто завидовал писательской славе («возможно» стоило опустить).

Мы выехали из Москвы на машине в ночь, но я всё равно решил начать поездку с Paranoid, звучавшую на полную громкость. И уже на второй песне высунулся в окно, заорав, как мальчишка, отмечающий выпускной: “Finished with my woman 'cause she couldn't help me with my mind”. Проорав текст как молитву, я тут же вспомнил о смуглой шлюхе, оставшейся у меня дома. Она и, правда, не помогла разобраться с моими мыслями. Зато рифф ошеломлял и приговаривал, словно гнев Божий. Я, подпевая, слушал эту песню – да и весь альбом – снова и снова.

Хотя всё то, что нравилось в детстве, во взрослой жизни скорее раздражало. И можно было лишь иногда заглядывать в прошлое – туда, где, казалось, ещё оставалось время на свершения. И пусть Гайдар в свои пятнадцать уже командовал взводом, а Грозный в двадцать два взял Казань, до сих пор верилось, что ещё успеешь встряхнуть мир, прогнуть его под себя. Но дни плавились, исчезали. А жизнь всё больше напоминала глицерин.

Спустя время, само собой, хотелось вернуться в то состояние, отвоевать назад, забрать себе. И потому, возвращаясь на родную улицу, уже убитую, полуразрушенную, видя сломанный теннисный стол, ржавые турники, остов магазина, ты всё равно млел перед ней. Ведь искал не конкретных вещей, а то время, которое они олицетворяли. Пытался ворваться в прошлое, прикоснувшись к напоминаниям. Но лишь пытался. И только музыка перебралась ко мне из прошлого. Да, я до сих пор всенародный проныра.

- Громче, Андрюха! Быстрее!

Андрюха и без того выжимал педаль «Гелика» почти до предела. Из колонок Hertz долбили «саббаты». Этот мир ещё рано было отправлять в ад.

В Ростовской области мы свернули на специальные дороги. На одной из них, чуть в стороне, я увидел колонну с военной техникой. Она двигалась в сторону границы. Танки, похожие на древних черепах, были погружены на тягачи.

- Уже и брезентом не накрывают, - хмыкнул я.

Андрюха лишь кивнул в ответ. Он всегда был немногословен. В машине звучал только я. Ну и Оззи.

Вид боевой техники вдохновил меня. Чем больше танков, тем лучше. Неважно, сколько людей погибнет; главное, как в юности – дать пизды, чтобы больше не лезли в твой двор. Циничная и жестокая логика, согласен, но без неё нам не выжить. Всё тот же вопрос: готовы ли вы, чтобы завтра вас убивали в Твери, Калуге, Екатеринбурге, Сочи? Государство обязано защищать свой народ, но именно народ ему в этом регулярно мешает. Он всегда на протесте. Ему не хватает благ. И чем лучше живёт народ, тем более он недоволен. А потом он вываливается, как грудь пьяной бабы, и причитает, чтобы спустя время идти войной, ощетинившись вилами. Иначе этот народ не умеет. Иначе ему никто не даёт.

И лишь танки помогут унять беспокойство и боль. Траками сомнут любую дрянь, превращая её в мёртвое, то, чему заказан путь в будущее. И из пушек, торчащих, как эрегированные члены, вылетит сперма снарядов, чтобы гибелью оплодотворять улицы распластанных городов. Они, эти машины смерти, живы, и люди в них живы, но вместе они образуют нечто потустороннее, дьявольское, несущее исключительно смерть. И никто не вправе нарушить этот закон, ибо так он согрешит против основ мира; ведь нельзя прикоснуться к великому колесу и пытаться остановить его. Оно должно перемалывать, накидывая расплющенные трупы на пирамиду, по которой, и только по ней, если она не осядет под собственной тяжестью, и можно будет идти к небу, чтобы постучаться в его врата настойчиво, лихо и крикнуть, повелевая: «А ну, открывайте! Мы пришли, чтобы взять своё! И мы не отступимся!». Возможно, тогда с небес прольётся огненный дождь, и сойдёт ангельское воинство, и архангел Михаил лично накажет воинственных гордецов, но биться всё равно надо, потому что война – это мир, и у того нет и не было иной природы. Вот и распятый еврей принёс не мир, но меч, хотя и учил любви, чтобы мы наконец примирились друг с другом, но нам нравятся танки, большие, грузные, как яростные домохозяйки, нам нравится заклинать и совершать смерть – и я не исключение. Кто осудит меня за это?

На границе к нам присоединился военный конвой. Местный полевой командир с мохнатой родинкой на щеке собирался усесться ко мне в машину, наверное, чтобы тут же сделать доклад. Но я отправил его подальше. Мне не хотелось никого видеть. Стремление к одиночеству проклюнулось на границе и потом разрослось. Я представил, как увижу разбойничьи морды, заслонявшие искажённые горем лица, и чуть не блеванул. Поэтому в Донецк я ехал в темноте и одиночестве; Андрюха не в счёт. Когда лунный свет пробивался сквозь насупившиеся облака, то высвечивал подбитую технику и непаханые поля. Мы остановились поссать, и я увидел разорванные туши собак у дороги.

Моя гостиница находилась в центре. Я уже останавливался в ней. Пусть и предпочитал менять своё местоположение. Ведь в Донбассе взорвали и взорвут немало шишек. Впрочем, взрывают, как правило, за прожорливость. Но и за правду тоже взрывают. Ненасытным паразитам вскрывают брюхо свои же. И чужие. Такова наивысшая форма естественного отбора.

Заселившись, я сразу улёгся спать, приняв порцию успокоительных. Пустота внутри чернела и разрасталась. Я сидел на антидепрессантах и барбитуратах. Сегодня особенно важным было как можно скорее уснуть. Утром мне предстояло множество встреч, а вечером – тот самый концерт.

Кажется, в ту ночь мне ничего не снилось. Вообще ничего. И сам я тоже, наверное, был ничем. Приятное ощущение. Расслабляет.

В мирное время я был в Донецке всего один раз. Когда шёл чемпионат Европы по футболу. В июне, кажется. Французы играли против англичан. Играли бодро, но затолкали всего по одному голу. У англичан отличился негр, у французов – араб. Я стоял в вип-ложе ужратый пивом, закинутый веществами и спорил с белобрысым товарищем, из-за которого и поплёлся на чёртов футбол. Он, человек из «Газпрома», страстно болел за англичан, а мне нравилось его подначивать, поэтому я как бы поддерживал французов, хотя терпеть не мог ни их афро-арабскую сборную, ни президента.

Для чего я вообще высадился в Донецке? Не из-за футбола, конечно. А из-за товарища – он пригласил, а мне требовалось стороннее финансирование. И ещё из-за баб. Ведь никто не ебётся лучше украинок. Нигде я не видел таких шикарных сук. Девки развратны во всех странах, да, но никто не отдаётся с такой похотливой искренностью, как украинки. В них есть испорченность ребёнка, который только начинает исследовать мужское тело и секс, узнаёт свои и чужие пределы – погружаясь в процесс максимально. Даже, если ты у неё сотый, всё равно она трахается, будто впервые, а секс хорош только, когда он новый. Украинка, когда ты кончаешь ей в рот, смотрит на тебя снизу вверх трогательно и невинно, будто девушка, певшая только что в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, и вот теперь она решила расслабить их. Бог создал украинок для секса. Нацисты вывозили из УССР чернозём, а надо было девок. Хотя девок, наверное, они оприходовали прямо на месте, среди попаленных хат и сломанных вишнёвых деревьев.

Да, то был яркий визит в Донецк. Пусть я и почти не видел сам город. Мы тусовались в кабаках и гостиницах – с девками, бухлом и веществами. Единственное – я случайно прогулялся по Пушкинскому бульвару. Ничего особенного, на самом деле. Но там цвели сотни роз, и густой аромат наполнял ночной воздух. Я шёл сквозь него, точно через облако нежности. Блаженствовал в прозрачном воздухе, наполненном ароматом роз. Было уже достаточно поздно, поэтому я не встретил толпы болельщиков.

Потом я приезжал, в основном, на несколько дней. Когда уже застучала кровавая колошматина. Но запомнился лишь тот первый визит – в довоенный город. Когда началась война, я уже не выходил на улицы без охраны. Сосредоточился на гостинице и административных зданиях. И ещё, помню, мы ходили в баню. С местными боссами.

Одного - жирного борова с пидорской бородкой - я случайно застал с худенькой белобрысой девочкой. Она выглядела лет на одиннадцать, не больше. Я зашёл в ту комнату по ошибке. Двуспальная кровать, зеркальный потолок, деревянный пол – пир во время чумы. И туша – жирные ляшки в красных прыщах – возвышалась над девочкой и хрюкала:

- Соси!

Хотя она, эта девочка, и без того сосала. Но он совал член в рот так, будто хотел порвать его.

- Эй, спокойнее! – крикнул я.

Он повернулся ко мне с гримасой ненависти – точь-в-точь сальный фюрер. Будь у него ствол – он бы шмальнул в меня. Но, увидев, кто перед ним, эта сука подобралась. Девочка смотрела на меня уже без страха. Мне понравилась её едва оформившаяся грудь с заострёнными сосцами.

- Что?!

- Поспокойнее, ладно?

Я шагнул навстречу борову. Два голых мужика – один, правда, замотан в простыню, как в тогу – два быка, готовых биться за тёлку. У борова всё ещё стоял член. Он торчал мне навстречу, словно кукри, с угрозой. Девочка перебралась на край кровати, застеленной розовой простынёй.

- Ей сколько?

- Какая разница? – поморщился боров.

- Тебе сколько лет? – я проигнорировал его вопрос.

- Восемнадцать, - заулыбалась девочка.

Она врала. Хотя, конечно, бывает всякое. Сейчас, впрочем, чаще случается наоборот. Встречаешь жопастую девку, и она, нажравшись бутиратов, трахается так, словно хочет получить «Порно-Оскар», но потом оказывается, что ей всего шестнадцать – и с тобой спала школьница, которую пользует распиздяй из параллельного класса, с ним она селфится и с ним она курит соль под песни Элджея. Мир заполонили шкуры. И они либо сосутся в Periscope, либо, если поумнее, разводят мужиков.

- Ты чего приебался? – боров уже не сдерживался.

- В смысле?

- В смысле чего тебе надо? Или сам её хочешь? Давай вдвоём тогда трахнем.

- Давай, а потом тебя в жопу.

Я ждал этого момента. Боров раздражал меня ещё тогда, когда его назначали на должность. Он походил на Джаббу Хатта. Потому я не без пристрастия двинул его ногой в пах. Затем приложил локтем сверху. Боров даже не успел перегруппироваться. Я добавил коленом в поросячью морду. А после, как таран, засадил головой борова в батарею. Мне всегда нравились чугунные, а не биметалл. Борову стало хорошо. Он в агонии заверещал.

- Мне на эфир завтра!

- Что?! – я застыл.

- Мне на эфир! К Соловьёву!

Я захохотал. Гиньольная ситуация. Ненависть тут же вышла из меня, как бес. Напоследок я пнул борова и повернулся к девочке. Она по-прежнему оставалась голой. Широко распахнула глаза, но не от страха, а от возбуждения. Сучке нравилось, как один мужик уродует другого. Ей, может, даже казалось, что он бьётся за неё, маленькую мокрую потаскушку.

Вечером следующего дня я извинился перед боровом.

- Ничего, - он старался держаться. – Вот только врач говорит, что я могу ослепнуть на один глаз.

Я поискал взглядом машину, не слушая, что бормочет этот жирный ублюдок.

Боров не ослеп. Ни на один, ни на два глаза. Спустя месяцы он стоял на трибуне. И улыбался. Он бы, наверное, махал рукой, точно партийный бонза, если бы я не находился за кулисами. Этот жирный ублюдок был начисто лишён такта и вкуса. В довоенной жизни он участвовал в финансовых махинациях – и нынешнее его положение стало чем-то вроде выигрыша в большой игре. Из пронырливого хапуги он превратился в какого-никакого, но государственного деятеля.

Таких горе-вождей в Донбассе хватало. Были и порядочные, но многих из них завалили. Ублюдки же ухитрялись отжимать даже то, обо что и мараться западло было. Ладно, заводские цеха, но когда у местного бизнюка забрали продуктовые магазины, а у другого реквизировали «Порше» - тут орки не церемонились. Они хотели сожрать всё и сразу. Новые царьки, в отличие от прежних, хотя бы не уходили в алкогольные и наркотические трипы с безумным трахом малолеток на дачах. Многие беспредельщики с вождистскими замашками перебрались в могилы. Жаль, они так долго шли к ним. Новых же мы пока терпели. Но и для них в случае чего отыщутся свои пули и бомбы. Придёт время и донбасских лонгольеров отправят в расход. Правда, сколько они успеют сожрать перед этим?

Я говорил брату, что выбирать в Донбассе было, по сути, не из кого. Но, определённо, нам ещё стоило поискать кандидатуры. Однако мы торопились расставить царьков. Как в настольной игре, в которую мы с братом играли в детстве. На поле боя – разноцветном картоне - солдаты и офицеры: они атакуют, убивают, завоёвывают мир. Конечно, сейчас, когда есть Xbox и PlayStation, школьнички раззевались бы от таких игр в первые же минуты. Современные дети вообще пресыщены, как порочные старики. Но мы веселились.

Впрочем, дело было не только в спешке. Многое просрали из-за банальной тупости. Как всегда, поставили не на тех. Таких ребят не стоило брать даже администраторами в казино, а их потащили во власть. Может ли троечник заниматься геополитикой? Нет, конечно. Но он занимается ею, потому что в совершенстве овладел искусством носить портфель за троечником пожирнее. Нами управляют посредственности. Примите это. Не двоечники – те с запалом хотя бы, - а постные троечники.

И теперь мне приходилось стоять на праздничной сцене рядом с такими ублюдками, как боров. Почти рядом. За кулисами я вливал в себя Jim Beam. Вообще я не любил бурбон. И штат Кентукки с военной базой Форт-Нокс мне совсем не нравился. Но даже бурбон оказался весьма кстати, потому что, проснувшись в донецкой гостинице, я вновь ощутил критическую тревогу. И за день – встречи, ложь, предательство – она предельно усилилась. Я вспомнил берег Байкала. И берег Влтавы. Трагические берега – в этом крылось что-то вампиловское.

Обычно я контролировал рабочий процесс из своего номера. Иногда выбирался из гостиницы и встречался в других местах, стараясь оставаться, минимум охраны, инкогнито. Старомодные фразы обольстительно хороши, правда? Оставаться инкогнито - чистый бурлеск! И где-то рядом феерит Мистер Икс: «Со смертью играю, смел и дерзок мой трюк». Именно так. Но в этот день мне пришлось быть в центре Донецка. Я стоял за кулисами. Смотрел, как выступают царьки. И жаждал побыстрее убраться в Москву, в свою квартиру, в кресло Eames с бутылкой Macallan двадцатилетней выдержки, но прежде попасть в ванну, чтобы наконец смыть с себя угольную пыль и людскую подлость.

Первым на сцену выбрался известный писатель. Он, по обыкновению, демонстрировал, что ему срать на всё. Но не на людей Донбасса. Не знаю, почему те верили ему. Он говорил быстро, чуть шепелявя – не слишком убедительно. Глядя на этого высокомерного карлика в итальянском шмотье, сделанном под неброский камуфляж, я всякий раз вспоминал летовское «Любит наш народ всякое говно». А ведь и правда – любит. Впрочем, разве только писателя? А эта сумасшедшая певичка, которая развлекалась казнями укров?

Старая гвардия была так уныла и предсказуема. Я надеялся на рэпера. Он мог протащить в это милитаристское шапито немного свежего хайпа. Да, была ещё сучка с попсовыми песенками, но толку что она открывала рот «под фанеру»? Лучше бы она открывала рот для другого.

- Потрясающе, Слава! Сегодня такая душевная атмосфера! И люди такие… настоящие! – певичка покинула сцену. Обняла меня. Пахла она марципанами. Я видел её огромные горячие boobs и крошечные зрачки – под коксом она бы спаривалась, как бешеная.

- Донбасс порожняк не гонит! Герои!

Кому я это объяснял? Поющим трусам? Хотя, похоже, певичка и, правда, верила в то, чем занималась. Кто знает, может, они все верили. Даже писатель. И единственным Фомой на сомнительной вечеринке был я. Тот, кто всё это затеял. А ради чего? Да, я выполнял свою работу. Мне она нравилась. Когда-то. Но разве это могло стать действительно веской причиной?

Я бы нашёл ответ, но рэпер-глист устроил трэш на сцене. Заговорил что-то про мир. Про украинских братьев. Про то, что вообще все люди – братья. И война когда-нибудь кончится.

- Это что такое?!

Я подскочил к щекастому директору рэпера. С нашей последней встречи в пивном ресторане он отожрался ещё сильнее.

- Я тебя спрашиваю!

- А что не так? – притворился шлангом парень.

- Что не так? Ты спрашиваешь, что не так? Какой мир? Какие братья? Вы охуели? Убери его на хрен со сцены!

Он заволновался. И опять покраснел, но уже с переливом в пунцовый. Он вообще быстро краснел, этот щекастый ублюдок. А тут наконец-то в полной мере сообразил, где находится. Трое парней в камуфляже и с пушками стояли за мной. Лица их были точно с древних скульптур, высеченных из мрамора. Перед ними же хоботился осрамившийся клоун.

- Он же, э, независимый артист…

Я посмотрел на щекастого, как на обгадившегося. Независимый артист? Выступал бы где-нибудь на заводах перед трудягами. А если уж, сука, зарабатывает баблаоа мы пообещали ему много бабла, то пусть вкалывает.

- Сейчас ты, - я взял концертного директора за шкирняк, гнида носил толстовку Burberry, - вразумишь своего подопечного. Ясно? Или, я тебе обещаю, клоун, ты и он вернётесь домой частями!

Он закивал. Испуганный, как сын злостного алкоголика, которого мучавшийся похмельем батя поймал за воровством заначки, директор забормотал в микрофон. Глист наконец заткнулся.

- Антихайп!

И повернулся к нам бледной мордой. Растерянной и ссыкливой.

Из-за неё мне вспомнилось, как я забрёл в нью-йоркский подвал, он же клуб, где крепкие niggas читали гангстерский рэп. Друг против друга. Жестокие ребята – они походили на хищников, только научившихся говорить. У них остались зубы и когти, но добавилась речь, которой они, как псы мочой, метили территорию. С такими нельзя было спорить, таким нельзя было возражать. А вот ублюдок на сцене? Смешно. Ему бы Несквик по утрам есть и не выходить из комнаты, как завещал Бродский. Чтоб не сломали.

Впрочем, глист быстро всё понял. И перестроился. А я повернулся к директору. Он уже не краснел, но тем хуже – лицо его стало цвета варёной капусты.

- Половину суммы вернёшь, ясно?

- Да, без проблем, ко…

- Вот и ладно, - я перебил его, чтобы уйти, но потом вспомнил: - А, и пусть твой бастард выйдет на финальный поклон. Вместе со всеми.

**5**

Вечером устроили праздничный банкет. Две певички кутили под веществами: одна всё время чесалась, а вторая ржала, как малолетняя дурочка. Писатель нажрался, достал пистолет – «трофейный!» - и палил в потолок. Пришлось одёргивать их. Довольно грубо. Но я лишь хотел, чтобы шуты – а они, кем бы себя не считали, оставались шутами – исполняли свои номера, а не рядились в царские одежды.

Раздав пару затрещин, я вышел на балкон. С него открывался панорамный вид на ночной Донецк. В отдалении мерцало огненное зарево, там шла война, но в тот момент я не думал о трупах, а наслаждался миром, его повседневными прелестями – вроде тигровых креветок под Совиньон Блан, или хвалебных статей о Донбассе, просмотренных мной по диагонали. Я чувствовал себя кем-то вроде властителя мира. Нет, не мира – мирка. Мне нравилось, как горело зарево на горизонте. Так умирал прежний мир - и начинался новый. Определённо, в тот момент я понимал полководцев, захватывавших города, убивавших мужчин, осеменявших женщин. Они жгли вражеские цивилизации. Им нравилось, как огонь, натравленный ими, забирает чужие усилия, старания, жизни – всё то, что создал человек до того, как оно стало оплаканным пепелищем.

Я даже взял телефон - сделать фото. Представлялось, как я стою на вершине древнего храма. Передо мной застыл город – и пламя вот-вот должно было пожрать его. «Огонь, иди со мной!» - приказывал я. И он следовал за мной. А я повторял, заходясь в крик: «Нам мало Донбасса! Мы хотим ещё!». Повторял и кайфовал от того, что желаю не новый айфон, не Jaguar, а нечто сложносочинённое, сотканное из тысячи жизней. И я мог влиять на них. Вот почему люди сходят с ума от власти и превращаются в тиранов. Им нравится пить чужие судьбы. Но когда я хотел запечатлеть момент откровения, экран телефона вспыхнул – и я увидел новое письмо от брата.

- Очередная статья, - пробормотал я.

Но нет – в теме письма значилось «повесть». Всё-таки Антон закончил её. Так долго елозил, отнекивался, набивал цену. Но сдался. И сейчас я хотел видеть агонию его таланта. Я, как ужас в ночи, забрал его в уплату долга. Самое время. Да, я хотел убедиться. И насладиться. Хотел свидетельствовать, как пал мой брат, продавшись и превратившись в обслуживавший персонал. Обслуга – сытая, стильно одетая, да, но - обслуга.

Ради чего, брат? Ради футболок Billionaire? Но ведь это даже не Philipp Plein. Или ради семьи, которую ты, может быть, когда-нибудь, если повезёт, заведёшь? Ради чего ты отдал то, без чего жизнь теряет не просто смысл, а само начало? Расскажи, брат. Яви в своём чахоточном, хлипком тексте. Покажи, как обслуживаешь тех, кого клеймил и презирал. Сколько стоили твои принципы? How Much Is The Fish? Как мы орали на дискотеках. Но ты же понимаешь, это вовсе не про тарань или сёмгу? Это про Ихтис. Ты же умный человек, Антон, обязан знать.

Ухмыляясь, я открыл файл, сконцентрировавшись на тексте. Пробежал глазами, надеясь, что смогу быстро найти его слабости. Но взгляд зацепился, присел. Один якорь, второй, третий. Брат не просто держал ритм, стиль, сюжет – он, как полноправный властитель, забирал читателя прямиком к себе. Я несколько раз моргнул и позвонил помощнику.

- Принеси мне виски.

- Хорошо, - у собеседника заплетался язык. – А вы… где?

- На балконе, - я обозначил место.

- Сейчас.

Те десять минут, которые он наполнял бокал, а после искал меня, длились томительно долго. Я успел в деталях рассмотреть дом напротив. Мне понравился барельеф под крышей. Зарево на горизонте уже не вдохновляло.

- Вот, пожалуйста, - наконец появился помощник. В одной руке он держал полный бокал, в другой – бутылку «Чиваса».

- А бутыль для чего?

Помощник, пузатый, лысеющий, хотя ещё молодой парень, угловато пожал плечами.

- Подумал, что вы можете потребовать ещё.

Я оценил жест. Смог даже одобрить. Хотя плескался совсем в иных настроениях.

- Молодец. – Помощник протянул бокал и бутылку. – А теперь вали отсюда.

- Да, конечно.

- И закрой наглухо дверь, ладно?

- Да, конечно.

- И кончай бухать.

- Да-да, конечно.

Я перебрался в плетёное кресло, пусть и было дьявольски холодно. Отхлебнул из бутылки виски. Во всей этой сцене присутствовало нечто киношное, безусловно. Нечто приторно-патетическое. С той лишь разницей, что на экране всё заканчивается более или менее удобоваримо, а в жизни - наоборот. Брюс Уиллис или архангел Гавриил не приходят, чтобы передать Божий привет и подарить спасение. Нет, им не до тебя. Они либо лечатся в реабилитационном центре, либо вообще мертвы. Так скажи мне, Брюс, нравлюсь ли я тебя в данной роли? Я не спаситель, я террорист, возненавидевший айфоны и вознамерившийся уничтожить корпорацию Apple из-за одного текста.

Я вернулся к повести Антона. И уже не мог выпутаться из неё, несмотря на тьму и холод. Ты падаешь в такие тексты, как в бесконечный колодец, тёмные воды засасывают, но утонуть не страшно, а если и страшно, то оно стоит того, ведь перед тобой - откровение. Оно входит в сознание раскалённым железным потоком. Определённо, с такими книгами хорошо оказаться где-нибудь в бункере в ядерную войну. Все сдохли, но ты в укрытии, и есть консервы и, главное, книга. Ты уединяешься с ней – и читаешь, читаешь, забывая и о войне, и о еде, хотя тушёнка весьма неплоха. Никто не придёт. Никто не помешает. Это только твоё – да, твоё, возрадуйся! - откровение. Но когда ты дочитаешь, то обязательно спросишь: а что теперь? Куда идти? С кем поделиться? Ведь все мертвы. Это печально, да. Но, с другой стороны, в гаджетизированном человечестве изначально не было никакого смысла – оно слепо верило в прогресс и обманулось. Людей выкинули из терабайт памяти. А смысл – единственно верный (да, он существует, оказывается) - скрывался в книге. Тогда для чего жить дальше, если ты познал смысл? И больше ни в чём не нуждался, потому что обрёл мудрость и теперь можешь спокойно умереть. Прощай. Эта жизнь была не зря. Это чтение было совсем не зря.

Нечто подобное я и испытал на балконе донецкой гостиницы. Книга Антона оказалась не просто свежа, глубока, актуальна – какую ещё банальность напишет модная критикесса? Нет, это была концентрированная искренность, а в ней отражались и боль людей Донбасса, и сострадание к ним, заботливо перенесённые на страницы. Я ждал этого долго. Так долго. Потому что современную литературу в нашей стране делали паралимпийцы. Титанов в ней почти не остались. Пусть я и старомоден в слове «титаны». Вам такое не нравится. Вы и книгу моего брата никогда не признаете. А вместо неё, по обыкновению, станете превозносить очередное дерьмо об ужасах в СССР. Или экспериментальный роман.

И хорошо. Здесь я с вами. Вот уж не ожидал. С вами, ублюдки, против своего брата. О да, я готов вас поддержать, скоты из литтусовки. Литтусовка – звучит как секта. Хотя? Слишком мелко. Секта – это Аум Синрикё, а тут скорее название специализированного кружка в Дворце детства и юности; только туда ходят постаревшие, сильно измождённые дети с артритом, гипертонией, климаксом, завистью и тщеславием. Так что обойдёмся в миру без повести брата. Просто знайте: она видоизменяет всё, к чему прикасается. И, да, в повести фигурировал персонаж, с меня списанный - человек, изучавший пределы. Я узнал в нём себя. И внутренне согласился. И…

Стоп! Это же будет смешно, правда? Если я скажу, что заорал в ночь? Смешно же? Скороспелая мелодрама, показанная даже не в вечернее, а в дневное время. Вы не поверите ей – ну и ладно. Потому что на самом деле я орал, да. Сквозь сопли и слёзы. Орал и чувствовал себя смертником, падающим с вершины древнего храма.

Я вконец замёрз на балконе и вернулся в зал. Часть людей разошлась, но те, кто остался, вели себя так, будто скоро начнётся оргия. Большая часть тусовалась возле писателя. Он, ухрюканный, нёс чушь про Сосюру. Первый раз я видел, чтобы плебс тусовался не вокруг певичек, а возле писателя. И он, несомненно, заслуживал уважения. Если бы только в своих сталинских мечтах не представлял себя self-made man. В этом, конечно, он был убог. Определённо, тщеславие – самый любимый из моих грехов. А вот плебс утомлял. Я лишний раз убеждался, что массы не beat the bastards, а отсосут у них, сильных. Но сила, она не только в правде, нет. Сила может произрастать и из лжи. Ты можешь брать её как из светлого, так и из тёмного источников. По хер.

Мне надо было поразмыслить о перспективах повести Антона. Повести, которая имела все шансы стать отличной книгой. Но ко мне тут же начали подбираться люди. Хотели финансирования. Им казалось, что пир во время чумы – идеальное место для заключения договорённостей. И этим людям мы доверили миллион жизней. Один – мордатый, со значком ДНР, приколотым к клетчатому пиджаку – лез слишком настойчиво. Я, не сдержавшись, оттолкнул его.

После этого ко мне не приближались. Только посматривали в мою сторону. Но я, как чёртова кукла Чаки, злился и расталкивал ублюдков. А после, сбежав, вывалился на улицу, приказав водителю ждать.

Город был тих. И не верилось, что рядом лютует война. Я в очередной раз позволил себе киношность – уставился в ночное небо. Там не было звёзд – только луна. И, наверное, морального закона во мне тоже не осталось. Он исчез. Когда? После школы? На телевидении? Или когда я перебрался на Старую площадь? Когда я стал тем, кем я стал? Тавтология, воткнувшаяся в меня несколько раз, как заточка. Я ведь хотел не этого. И в целом, и в ситуации с братом. Я всего лишь надеялся помочь ему. Вытащить из ямы. Я же ведь этого хотел, правда? Ну?

Такое ровное, безмолвное небо. Когда же я наконец буду честен? С самим собой. Ладно, с людьми – плевать на них. Они грязь на липком полу. Но как поступать с собой? Как быть честным? Это ведь труднее всего. Вот и я, глядя в беззвёздное небо, продолжал врать. Ведь не хотел – и не собирался даже – помогать брату. Нет, я планировал купить его. И только. Чтобы унизить. Снять тлю с ветки и раздавить. Вот так – исключительно так. И это было неподвижно-глубинное чувство.

Каин, почему ты убил Авеля? Потому что завидовал, да? Но ведь тебя, Каин, подставил Бог – Он не принял твою жертву. Ему понравилась жертва Авеля. Бог был слишком жесток. Он толкнул на убийство, унизил, поиздевался – и брат пошёл на брата.

Ты был идеалист, Каин. Как и я. Поэтому ты мне понятен. Я ведь никогда не верил в то, что писательство – для развлечения. Или для премий. Я, как тот усатый безумец, умиравший дома у матери, верил, что писать надо кровью и притчами. С притчами как-то не сложилось. Потому оставалась исключительно кровь. Свою расходовать было жаль. Мне ведь нравилось садиться в Jaguar, мчать в «Турандот», встречаться с девкой, которая ещё вчера вела передачу на Муз-ТВ, а после делать с ней всё, что угодно. Вообще всё, что угодно. Люди превращаются не в животных даже, а в бактерии, когда смазываешь их баблом. Но когда я решил пустить собственную кровь - написать книгу, то Бог не принял мою жертву. Злой Бог. Он ненавидит всех нас. Кроме моего брата. Ему Он подарил талант.

А я хотел отобрать его. И у меня был план – прекрасный ведь план, правда? Или я ошибся? Если брат сделал книгу, которой может гордиться. Даже если его убьют, а сделать это бы стоило, книга останется. Возможно, из-за смерти автора она будет лучше продаваться. Вот он - Курт Кобейн русской литературы. Хотя нет, при чём тут Курт? Его грохнула жена. Тогда мой брат - Джим Моррисон. Стоило не пускать его повесть, блокировать любые её пути выхода в мир. Чтобы Антон раздавал текст на улицах. Помню, когда я только окончил школу, ко мне у Александровского сада подошёл плюгавый, пропитанный спиртягой, мужичок и прохрипел:

- Молодой человек, купите книгу гения.

- Гоголя?

- Нет, - он назвал своё имя. Вот пусть и Антон так же, как то существо, жарится на площадях и попрошайничает. Это станет расплатой за его предательство.

Хотя и это не спасёт. Меня не спасёт. Кому я вру? Брат уже написал повесть. Она останется навсегда. Ей можно гордиться. И Антон это знал. Лучше, чем кто-либо. Он сделал своё дело – и он мог умереть. Неважно, что предстояло ему в мирской жизни – в литературе он сделал свою историю. И всё его лузерство, которое он, как религию, исповедовал до встречи со мной, помогло ему. Кто знал, что так выйдет? Он привык существовать в забвении. Он не ждал признания. И это закалило его. Точно буддийского монаха, постигшего дзен. Какая же ты сука, Антон!

Я двинулся по тёмной улице дальше. Без целеполагания, без понимания маршрута. Брёл, чтобы успокоиться. Чтобы оторваться от всего того, что раздражало меня этим вечером. Дома тянулись бетонными часовыми, я свернул за угол, за другой и вдруг окончательно потерял ориентацию. Испугался, что не смогу найти дорогу назад. И тут же застыдился собственного малодушия. Уже не мальчик. И не в чужом городе, а в почти своём. В том, судьбу которого решал я. Отчасти. Решал же, да? Ладно, брат написал отличную повесть, но сила-то по-прежнему оставалась со мной. Я просто слишком заигрался в писательство, слишком прилепился к юношеским иллюзиям. А стоило бросить литературную бессмыслицу и вернуться к нормальному делу. Тому, что измерялось частотой цитирования, баблом, пулями, девками, кровью. Только почему оно так отдалилось и не веселило меня больше? Я помнил беспокойство, выедавшее изнутри, и то, как спасался от него на старой квартире стихами. Хоть бы их никто не читал. Я бы выкинул голубую тетрадку в ближайший мусорный контейнер, но боялся, что однажды вновь придётся воспользоваться этим странным, но действенным психотерапевтическим методом.

- Эй, а ну стой!

- Стоять!

Я не сразу понял, что кричали мне. Замер. Напротив дома, первый этаж которого, судя по красно-белой вывеске, занимала аптека. Все окна в нём были темны. Не знаю, жил ли тут кто.

- Что? – я в раздражении повернулся.

Ко мне приблизились три вооружённых человека в камуфляже. Один из них запоминался больше других – он был седовлас. «Долбаный Гэндальф», - подумал я.

- Ты чего бродишь? Пулю в лоб хочешь?

Со мной говорил хмурый детина с расплющенным, чуть сдвинутым на левую сторону носом. К губам его прилипла сигарета. Он дымил ею, не вынимая изо рта. Огонёк светился в темноте, точно прицел. Я ухмыльнулся:

- А как же праздник? Сегодня ведь праздник.

Ещё один мужик в чёрной бандане, закрывавшей пол-лица, держал меня на мушке. Тот, что с расплющенным носом, сократил расстояние до неприличного, он был зол, но пока не критически:

- Ты кто такой? – Потом почуял. - Парни, да он бухой!

Меня развлекала эта троица.

- Там и вам хватит. Накатим в честь праздника.

- Что?!

- Ничего, нюхач.

Он завис, не ожидавший такой борзости. Я намекал на его деформированный нос. Наверное, детина ударил бы меня, если бы не моя самоуверенная ухмылка. Я никак не мог – да и не собирался, если честно – отлепить её от лица. Задиристое настроение возвращалось ко мне. Носатый, наверное, опять подумал о том, чтобы ударить меня. Но момент был упущен, и он сам понимал это. А потому завис, обмякая.

- Могу я вам кое-что показать? Чтоб сэкономить время.

- Что?

- Чего ты с ним пиздишь, Серый? – крикнул тот, что в повязке.

Носатый поднял ладонь. Мол, спокойно. Значит, был главным у них.

- Что показать?

- Документы. Ты должен был спросить у меня документы, Серый. – Я тяжело вздохнул. – Меня утомил этот цирк. Так можно предъявить документы?

Носатый после короткого размышления согласно кивнул. Но приподнял пушку. На всякий случай. Я, как в третьесортном боевичке с каким-нибудь Майклом Дудиковым, полез в карман, медленно, чтобы лишний раз не нервировать людей с оружием, достал ксиву. Протянул её носатому. Тот изучил. Посмотрел сначала на фотографию, после на меня, а потом стушевался. Мне нравились такие моменты. В них раскрывались люди. Становилось ясно, кто из них настоящий, а кто судит по антуражу. Вторые не заслуживали уважения – шваль.

- Извините.

- Ты чего, Серый? – крикнул тот, что в бандане.

- Всё нормально, Стас. Это… - он не знал, что сказать. Я засмеялся.

- Да ладно вы чего? Расслабьтесь! Есть сигарета?

Серый пошарил рукой в кармане. Достал пачку Lucky Strike – странный выбор.

- Наши? Или украинские? – сказал я, закуривая.

- Не понял.

- Сигареты наши, российские, или украинские?

- А, - он почему-то смутился, - украинские.

Я всмотрелся в его лицо, покрытое мелкими порезами и ссадинами. Что он делал с собой? Или что делали с ним? Двое подошли к нам. Седовласый молчал и вообще выглядел равнодушно. А Стас опустил бандану и смотрел с любопытством. Нижняя губа его была рассечена надвое. Серый успел ему что-то шепнуть.

- Вы нас простите.

- Ничего, служба. – Сигарета отдавала формальдегидом. – Тут же ДРГшники шарятся.

Стас кивнул и принялся рассказывать, как двумя днями ранее они поймали диверсанта. Я не верил ему. Он, похоже, лгал, сильно приукрашивая.

- Но вы-то почему один? – спросил Стас, колючий парень.

- Прогулка, проверка. Не суть. Вы мне лучше скажите, оно вам на хера надо?

Они хмуро посмотрели на меня, не понимая. Седовласый поиграл желваками.

- Мы не понимаем.

- Мы на ты. Мой вопрос: почему вы взяли оружие, а не умотали куда-нибудь в Крым? Почему? – Я выкинул окурок. – Понимаю, странный вопрос как для сейчас, но всё же. А?

Я знал, почему спрашивал. Три ублюдка в камуфляже раздражали меня. Они не должны были вести себя так. Даже несмотря на кремлёвскую ксиву. Они лебезили, подобострастничали. А на войне работали иные правила – во всяком случае, теоретически - все были равны на поле боя. Или я в очередной раз притворялся романтиком?

- Так почему, а? – я вновь повторил вопрос.

Забавно, три вооружённых мужика растерянно пялились по сторонам и не могли ответить на простой вопрос. А ведь эти же черти должны были биться за русскую свободу, русский язык, - берите выше! – за русский мир. Кто тут за него, а?

- Потому что это моя земля – вот почему, - вдруг прошепелявил седой.

Я кожей ощутил, как он презирает меня. Долбаный Гэндальф.

- Да? И почему же она твоя?

Старик взял сигарету, пустил сизый дым.

- А оно тебе зачем?

- Интересно.

- И только?

Он осклабился. Зубов у него почти не осталось. А те, что сохранились, были упрятаны в металлические коронки. Посередине торчал золотой зуб. Как символ другой эпохи. Старик, наверное, когда-то им очень гордился. А, может, и до сих пор гордится.

- Смотришь на нас, как на зверей в зоопарке, да? Приехал из Москвы? И вот – весёлый зверинец. Или не весёлый?

- Ну, вроде того.

- Тсс, - Серый постарался успокоить Гэндальфа, положил ему на плечо руку.

- Ну чего тсс? Он же сам хотел – как тебя, кстати?

- Вячеслав.

- А по батюшке?

- Неважно.

- Вячеслав хотел знать, почему эта земля моя.

- Хотел бы, - я уселся на бордюр. Часть его была снесена, из бетона торчала ржавая проволока. – Расскажешь?

Старик кивнул:

- Если просишь. Тогда меня звали Ванюша. Я был совсем маленький, лет семь, не больше. Кругом шла война. Бесстыжая и бессердечная. Фрицы пришли и оккупировали наш дом. А мы с матерью и двумя братьями жили в сарае. Отец ушёл на фронт и не вернулся. Как и миллионы других отцов. Братья теперь тоже мертвы, шахты их уморили, а я вот живу и могу держать оружие. Много историй тогда случилось, но я расскажу одну, – старик прикурил от одной сигареты другую. – Было солнце. Хотя до этого очень долго шли дожди. Я играл во дворе с Жучкой – с нашей собакой, вертлявой и очень забавной, она могла бы выступать в цирке, наверное. Я кидал ей палку, когда на крыльцо вышел фриц. Он был самый мордатый из всех тех, кто захватил наш дом. И очень любил подолгу мыть руки и шею. Вот он вышел и уселся на деревянные ступеньки. И стал есть бутерброд – чёрный хлеб со сливочным маслом. Фриц ел и смотрел на меня. Издевался. А я продолжал играть с Жучкой. И тут фриц поманил её. Иди, мол, сюда, дам бутербродик. Не мне - собаке. Такие они были – не людей кормили, а животных. Жучка, виляя хвостом, высунув язык, подбежала к нему. Я смотрел, не двигался. Внутри всё сжалось. Казалось, даже солнце померкло. Хотя, может, это я сейчас так говорю. Не знаю. Так или иначе, фриц протянул собаке нашей бутерброд, Жучка хотела схватить его, но тут немец выхватил пистолет и приговорил несчастное животное. Убил наповал. Одним выстрелом. А недоеденный бутерброд швырнул на землю. Ещё взглядом мне показал: мол, жри, мальчик. То, что осталось от Жучки валялось рядом, а я уже бился в истерике. Мать куда-то ушла – и некому было меня успокоить. А фриц хохотал, а после начал орать какую-то свою песню.

Старик вдруг замолчал. Так же неожиданно, как и начал говорить.

- И? – Я ждал продолжения истории. – Всё?

- Почему всё? Потом, когда пришло время, я его задушил. Фрица. Пришлось прятаться на кладбище, но – видишь, ничего, сейчас стою перед тобой. Живой.

Старик с улыбкой посмотрел на меня. В ней должно было сквозить ехидство, но я его не заметил.

- Так себе история, если честно.

- Как есть.

Он был не так прост, этот старик. Вцеплялся в моё лицо взглядом. Не отводил глаз. Люди поступали так редко. Обычно они прятали взгляд. А этот смотрел и смотрел. И я заметил, что злоба в его глазах ушла и сменилась добротой. Он сострадал мне, этот старик, загрубевший, покрытый шрамами утрат и разочарований. Война, стройки, развал, а потом старость. Последние годы – перед войной - он, наверное, получал пенсию, голосовал за «Партию регионов», болел за «Шахтёр», радовался внукам. Так он жил? Или пил и приворовывал? Не суть. Важно, что у него тянулась его жизнь, а звери пришли и её перевернули, и он сам стал зверем, но с ворохом сентиментальных бесполезных воспоминаний. Теперь он нёс вахту, ещё живой. В отличие от многих. И однажды вечером встретил своего феодала.

Тот сперва навалился, порисовался, а после сообразил, что вассалы, попавшиеся ему, безусловно, остаются вассалами, - из них добывают деньги, как из скота мясо и сало, - но земля всё равно принадлежат им. И будет принадлежать. Потому что у них есть воспоминания, а мысли феодала ограничивались бульваром роз и классными шлюхами. Вассалы же защищали землю не ради того, что им придумывали феодалы, - нет, над подобным они хохотали - а ради воспоминаний, своих и только своих. Да, они так и останутся вассалами. Многие погибнут, других сведут с ума пролежни или спирт. И здесь никогда уже не будет счастья. Но слёзы и кровь впитаются в их землю. И она по-прежнему будет принадлежать только им.

Слишком искренний взгляд старика. Как и повесть Антона. Вот что меня мучило. Искренность, как копоть, прикрывала лишнее и оставляла смысл, закольцованный на милосердии. Оно действовало на меня, как солнечные лучи на вампира. И нужно было бежать прочь. Потому что здесь накопилась критическая масса. Да, обычно искренность слаба и бесполезна, но при определённой концентрации, при определённых обстоятельствах она обезоруживает. Я просто должен был убраться как можно дальше с этой земли. Ведь это была их война – только их. И лжёт всякий, кто пытается присосаться к ней. Земля всё равно возьмёт своё, даже если для этого ей придётся похоронить в себе тысячи своих же. Милосердных и великодушных в своей молчаливой простоте.

- Где здесь река? – это был мой голос. Я не сразу узнал его.

- Кальмиус?

- Ну, если тут Кальмиус, то да.

- Но это не близко. Может…

- Где тут река?! – не сдерживаясь, заорал я. И старик посмотрел на меня, как на покойника.

Серый махнул рукой. Я кивнул и побрёл в указанном направлении. Прошёл с десяток метров, а потом развернулся и, будто осатанев, закричал старику:

- Тебе - пиздец! Слышишь? Тебе – пиздец!

Он не ответил мне. Я вообще почти не видел его в сгустившейся темноте. И двух других тоже. Мрак обволакивал их, забирая с собой на передовую ночи.

Я отправился дальше, не слишком понимая, для чего иду. Более того, совсем неуверенный в том, что шёл сам, а не меня вели за собой. Фонари почти не работали, и часто мне приходилось брести в непроглядной темноте. Я хотел вытащить телефон и подсветить им, но решил, что всё равно не знаю дороги. Мне позвонили из охраны. Голос их отсвечивал беспокойством.

- Ждите у гостиницы, - бросил я и тут же прервал звонок.

Почему я отказался от них? Для чего брёл к воде? И где осталась гостиница? Я не знал, не представлял даже. Здания слились в одно. Я чуть не провалился в яму, зиявшую у дороги. Один раз споткнулся и рассёк руку о камень. Мне надо было остановиться, повернуть назад. Или просто сообщить охране адрес, указанный на ближайшем доме. Но необоримая сила толкала меня вперёд.

В голове крутился пёстрый калейдоскоп из образов, мыслей, будто желтоватый луч выхватывал картинки из прошедшего дня. Но когда я свернул за угол, не в силах объяснить, почему выбрал именно этот маршрут, в голове остались лишь две истории. Та, которую нарисовал брат. И та, которую рассказал старик.

Моя земля. Так говорил старик. Это их земля. Писал брат. Они как бы вторили друг другу. Старик не кичился и не пресмыкался. Он лишь молча наблюдал. И этот его добрый взгляд – он разоружал, похожий на тот, которым смотрел на меня священник в монастыре. Где старик взял свою силу? Кто даровал ему её? Я видел и слышал, чувствовал каждой клеткой, его неотступность. Такую же, как и в тексте Антона. Будто великое заклинание, которое, казалось, невозможно было произнести, но тем не менее оно прозвучало.

Антон обманул меня. Он должен был написать текст с другим содержанием. С другим посылом. Однако брат создал иное послание. И если всё сложится, а сложиться может, то его станут изучать в школах, как «Севастопольские рассказы». Как брату удалось это? Впрочем, для чего думать? Тексты не пишутся людьми – великие тексты, во всяком случае. Люди – только антенны.

И я – это было стыдно признать, стыдно и больно – хотел сделать то же самое. Я мечтал взять паузу. Мечтал сбежать из донбасского проекта. Чтобы успеть рассказать правду. Чтобы показать, как было на самом деле. Не ради людей. О, Господи, нет, конечно! Я хотел сделать это ради себя, потому что уже не мог лежать под могильной плитой бессмысленности.

У меня были девки, вещества, деньги. Но что ещё? И дело не семье – к ней я никогда не стремился. Хотя, кто знает, возможно, мне стоило попробовать. И всё же, проблема сидела в другом – я растерял талант. Если он был, конечно. Вот почему сейчас я бежал к реке, ведь так уже происходило. Талант забирали у меня. Или я отдавал его добровольно?

Буду совсем честен, ладно. Я ведь думал, что останусь в истории. Господи, это звучит так наивно, понимаю. Остаться в истории – словно мне четырнадцать лет, и я только что прослушал альбом Led Zeppelin. Хочу так же! Хочу! Мальчик, чёртов мальчик, но уже такой старый - в драных ботинках с отклеившейся подошвой. Его выбор – это только его выбор: в подобное он хочет верить, но ошибается. И всё-таки что стоило вам подарить ему толику власти? Вам, небожителям, воздвигшим империю из боли и крови? Почему вы отказали ему? И почему подарили её брату?

Я должен был унять свои мысли. Успокоить. И остановиться. Не только морально, но и физически – прекратить идти. Однако в тот момент, когда я хотел развернуться, в распаренное лицо мне пахнуло сыростью. И я ощутил, что вода совсем рядом. Вода, успокаивавшая меня. Я так стремился к ней. Хотел отыскать реку – и отыскал. Возможно, всё, что я желал, ещё было доступно мне. Стоило лишь перегруппироваться.

В конце концов, у меня оставалась работа. Мой проект. Я придумал донбасский проект. Я! И поступал с этой землёй так, как хотел. Никто не мог указывать мне. А брат? Я разберусь с ним. Он ведь наверняка отправил рукопись только мне. И сейчас ждал моего решения. Прикидывал, насколько я буду зол. То, что зол – несомненно. Но насколько? Он обманул меня – значит, я мог забрать повесть себе. Просто забрать, да. И Антона отодвинули бы навсегда. С его талантом. Я ведь уже думал об этом, но малодушничал. Каин, почему ты убил Авеля? Потому что Бог не принял твою жертву.

На самом деле я придумал эту повесть. Она принадлежала мне, ведь я питал войну в Донбассе, чтобы такие стервятники, как Антон, могли писать о ней. Эта бойня, как и любая другая, понадобилась лишь для того, чтобы появилась великая книга. Проблема в том, что формально её написал не я. А тот, кого я ненавидел и уважал больше всего. Но я ещё мог вернуть мне причитавшееся.

Правда, сперва нужно было смыть в воде неудачи. И я уже видел набережную Кальмиуса. Фонари здесь работали, пусть и не слишком ярко. Низкое ограждение, отделявшее реку, в нескольких местах зияло дырами. Становилось невыносимо холодно, и нужно было возвращаться назад, как можно быстрее. Но вдруг меня вновь окликнули. Я повернулся, не дойдя до реки десятка метров. Подумал, что за мной увязались Серый, Стас и старик. Но это бы не они.

И тут я вернулся в реальный мир. Сообразил, что мечусь по ночному городу, в котором гремит война. А я брожу по нему, словно по какой-нибудь Москве или, ладно, по Курску. Как я настолько поддался отчаянию? Куда исчез мой самоконтроль? Я услышал, как в Кальмиусе плещется рыба. Это походило на галлюцинацию. Собственно, это и была она, но я всё равно слышал плеск и не мог от него избавиться. Следом ноздри учуяли тот запах из детства, когда бабка варила корм для курей. Наверное, я сходил с ума. От нервов, веществ, зависти и недосыпания. Смрад и плеск становились невыносимыми. А надо ещё было отбиться от тех, кто остановил меня.

Двое в камуфляже подошли сзади – и я задрожал, как загнанный конь, когда увидел их лица. Потому что уже встречал одного из них. Чёртов Будда на берегу Байкала. Да, это был он! Только маленький – ребёнок, но теперь ублюдок вырос, окреп, возмужал и отправился воевать в Донбасс. Что происходило со мной?

- Всё нормально. Я только уже патруль.

- Патруль? Нормально? – бурят говорил с ленцой, не слишком стремясь открывать рот.

- Я просто шёл в гостиницу.

Они переглянулись. Я рассмотрел тёмно-красный шрам на лице одного из бурятов. Он тянулся от правого виска к подбородку. Будто ударили саблей. Много-много лет назад.

- Руки!

- Что?!

- Руки подними!

Это было уже слишком. Какой-то узкоглазый мудак приказывал мне, что делать. Я хотел наорать на него, но вдруг понял, в каком положении нахожусь. Оно было предельно скверным. Я стоял один на ночной улице в военном Донецке перед двумя ублюдками с оружием. Они легко могли пристрелить и ограбить меня. Им было плевать, кто я и за что отвечаю. Здесь слишком часто пропадали люди.

- Руки держи!

Бурят обыскивал меня. Залез во внутренний карман. Нащупал ксиву. Я на время почувствовал облегчение. Документ всегда производил впечатление. Даже в таких ситуациях. Бурят внимательно изучил документы.

- Ты?

- Я.

В этот момент вдруг зазвонил айфон. Наверное, вновь беспокоилась охрана. Они могли вычислить меня и оказаться здесь на берегу Кальмиуса. Я представил, как наказал бы двух ублюдков, посмевших так со мной разговаривать. Айфон продолжал звонить.

- Ответь, - устало махнул бурят.

Его шрам, казалось, наливался кровью с каждой секундой. Я взял айфон. И увидел на экране совсем не то, что ожидал. Звонили из Кремля - зам моего начальника. Время в углу экрана значилось – половина пятого утра. Что вообще происходило? Откуда свалился этот сюр?

- Так ты ответишь?

Я наконец сделал движение пальцем.

- Да?

- Слава, извини за столь ранний звонок. Или, наоборот, - в трубке хмыкнули, - за слишком поздний. Во сколько ты завтра планируешь быть в Москве? Точнее, уже сегодня.

- Я планировал быть во вторник утром.

- Нет. Ты должен быть сегодня вечером. Шеф вызывает.

- А почему он не позвонил сам?

В трубке устало вздохнули.

- Потому что вчера вечером ты перешёл в прямое моё подчинение, - зам выкристаллизовал каждое слово, будто пронзая. – И да…

Он сделал паузу.

- Донбасский проект закрыт.

- Что?!

- Прилетай спецбортом. Всё обсудим. Ты должен быть вечером.

- Стой!

Но зам уже оборвал связь. Я хотел спросить про донбасский проект, крикнуть, где нахожусь, просить о помощи, но вместо этого пялился на мёртвый айфон. Внутри что-то хрустнуло. Потом ещё раз. И ещё, и ещё. Словно одна за другой ломали кости.

- Плохие новости?

Буряты с насмешкой смотрели на меня. Я несколько раз моргнул. Подумал, что всё это – лишь галлюцинация. А, на самом деле, я пережрал веществ и облёванный валялся у себя дома.

- Так кто ты? – повторил бурят. Что за идиотский вопрос?

- Кто я? – я начал шёпотом, но постепенно сорвался в крик. – А ты не видел? Не понимаешь, с кем разговариваешь, а? Кто я?!

Бурят захохотал. Как тот мальчишка с Байкала.

- Я думаю: ты никто.

Он вдруг наклонился и ударил меня головой в лицо. Боль обдала, как ледяная полынья. Мне, похоже, сломали нос.

- Беги, сука! – вдруг заорал бурят.

Я уже ничего не соображал. Кровь текла по моему подбородку. Я пытался зажать нос рукой. В голове пульсировало «беги, беги». Я сорвался с места, услышав, как передёрнули затвор. И почему-то бросился бежать в сторону реки. Не оглядываясь, спотыкаясь, зажимая нос. Сзади слышался смех. Я подумал, что это просто идиотская шутка. Бесконечная идиотская шутка. А потом что-то впилось в мою правую ногу. Я заорал от огненной боли и рухнул, не добежав до воды пары метров.

Ничего не пронеслось перед глазами. Из памяти всплыли только слова: «Война – это соблазн. И преодолеть его невозможно. Но с кем бы ты ни сражался, ты сражаешься, прежде всего, с собой. Пытаешься побороть свои соблазны. Неважно, остановят тебя пуля или старость, страх или сила, ясность или безумие – всё равно ты сорвёшься вниз. Есть только один способ балансировать, выживая: знать предел. И у каждого здесь – свои лимиты. Точно в казино – выиграть максимум и моментально остановиться. Но для этого должно быть то, за что можно держаться. Так думал Даниил, пересекая границу Донбасса…»

Это были слова из повести Антона. Ничего особенного, на самом деле. Я и сам мог бы написать их. Если бы у меня было, за что держаться. Тогда я мог бы – да, я мог бы.